

КАМЕРА ХРАНЕНИЯ

ВЫПУСК
ЧЕТВЕРТЫЙ

МСМХСІV

КАМЕРА ХРАНЕНИЯ
литературный альманах



Kamera khraneniya. Vypusk chetyvortyj.

A Literary almanach.

Copyright © Authors, 1993-1994.

Copyright © Compound Association "Kamera khraneniya", 1994.

Dmitrij Zah, Roederbergweg 121, 60385 Frankfurt am Main, BRD.

Россия, 197343, Санкт-Петербург, ул. Матроса Железняка 33-55, Д.М.Закс.

Copyright © Title and Idea of cover design. Oleg Yuryev, 1989.

All rights reserved

No part of this publication may be reproduced, in any form

or by any means, without permission.

St. Petersburg — Frankfurt am Main

MCMXCIV

Камера хранения. Выпуск четвертый.

Литературный альманах.

Состав © Ассоциация "Камера хранения", 1994.

Dmitrij Zah, Roederbergweg 121, 60385 Frankfurt am Main, BRD.

Россия, 197343, Санкт-Петербург, ул. Матроса Железняка 33-55, Д.М.Закс.

© Название и идея оформления. Олег Юрьев, 1989.

Авторские права © на сочинения, помещенные в альманахе, сохраняются

за авторами этих сочинений. Перепечатка какого-либо текста или

воспроизведение его любыми другими средствами —

только с разрешения автора.

Санкт-Петербург — Франкфурт-на-Майне

MCMXCIV

Составитель и редактор выпуска: О.Б. Мартынова

Exclusive distribution outside the territory of the former USSR

by Kubon & Sagner Buch Export-Import GmbH

80328 München, BRD

Telefax 49/89 542 18 218

Исключительное право на распространение издания за пределами
бывшего СССР принадлежит

Kubon & Sagner Buch Export-Import GmbH

80328 München, BRD

Telefax 49/89 542 18 218

КАМЕРА ХРАНЕНИЯ

Выпуск четвертый

Санкт-Петербург
1994

СОДЕРЖАНИЕ

От редакции 7

СТИХИ. ПРОЗА. ДРАМАТУРГИЯ.

Стихи и хоры Олега Юрьева 9

Маша и медведь, проза Нины Волковой 20

Из новых стихов Натальи Горбаневской 60

Стихи Валерия Шубинского 63

Стихи Сергея Вольфа 68

Стихи Гали-Даны Зингер 77

Газета "Русский Инвалид" за 18 июля...,
пьеса Михаила Угарова 84

Сумасшедший кузнецик, стихи Ольги Мартыновой 120

Три стихотворения Евгения Мякишева 130

Из цикла "Клубок аномальных метафор",
проза Владимира Губина 133

Гостиница Мондзхель, стихотворение Елены Шварц 155

ПЕРЕВОДЫ

Из американских поэтов

Стихи Уоллеса Стивенса, Роберта Фроста, Харта

Крейна, Роберта Пенна Уоррена, Т.С. Элиота

и Эзры Паунда в переводах Алексея Цветкова 160

XXX ЛЕТ

Стихи С.В.Петрова (*публикация Н.Гучинской*) 177

ОЧЕРКИ ЗАТОНУВШЕГО МИРА

Милая мама, проза Сергея Юрьенена 190

Еще раз к вопросу о фантиках,
сообщение Дмитрия Закса 196

ОТ РЕДАКЦИИ

Бывают книжки — элементы литературного процесса: его составные части, обозначения его новых тенденций, продолжения тенденций старых. На такие книжки пишутся рецензии, в рецензиях рассматриваются соотношения между автором и другими современными авторами, а также, если позволено так выразиться, соотношения «внутри самого автора», применительно к его, авторскому, развитию и изменению. *Литературный процесс — это структура имен, взятых отдельно и группами, и подвергнутых постоянному взвешиванию и обмеру.*

Литература, в противоположность литературному процессу, это *структура текстов*, и когда в эту структуру — изредка — добавляется новый элемент или совокупность элементов, происходит не истерическое подергивание весовых чашечек, но как бы постепенное перестроение всего здания, даже если речь идет всего лишь о каком-нибудь двенадцатистрочном стихотворении, иногда, при определенном стечении эмблематических обстоятельств, меняющем всю архитеконику национальной литературы. Тексты — элементы литературы — не требуют рецензий в обычном смысле слова. Они сами себя извлекают из времени, иногда забирая это время с собой, и становятся объектами анализа или, за отсутствием аналитических склонностей или за недостатком места, поводом для краткого сообщения, оповещения с попыткой суждения. Что, к сожалению, подчас лишает составителей этих текстов некоторых выгод и удовольствий (или даже насущных заработков), связанных с *хорошим привесом*. Но есть и другие выгоды и удовольствия.

Почти каждому человеку, профессионально озабоченному литературой (включая сюда и профессионально занятых чтением, и исключая отсюда профессиональных литературных критиков), в глубине души хочется, чтобы время, в которое ему по случайному стечению обстоятельств привелось родиться, оказалось литературно существенным, важным временем, что просто значит: обеспеченным книгами и именами, поднимающими и оправдывающими его личное присутствие в этом времени. Всякий, иными словами,

тоскует по временам расцвета, и именно поэтому многие жалуются на времена упадка. Но и те, кто жалуются, почти непременно делают исключения, пусть и немногие. Опора на несомненные имена и книги придает внутреннюю устойчивость собственному существованию, для пишущих — в надежде на принципиальную достижимость самих себя, для читающих — в надежде на принципиальную постижимость себя самих же. "Золотые" и "серебряные" века отличаются от прочих в сущности чисто количественно — количеством несомненного. Нынешний век российской литературы по общему убеждению не серебрян и не золот, но сам факт наличия литературных данностей, или скажем точнее: веры в наличие литературных данностей, пускай и немногочисленных, пускай и не всеобщих признанных, доказывает отдельно взятому верующему, что этот век хотя бы имеет место быть. наши издательские затеи, в том числе и лежащая перед вами, поставили себя — по мере сил, разумеется — на службу этой вере, потому что она жизненно важна и для вас, и для нас. Она хоть отчасти скрепляет и склеивает разбитую посудину, в которой мы все плещемся, ежесекундно выплескиваясь и просачиваясь, бесследно выпариваясь и безвозвратно уходя в грунт.

1994, Санкт-Петербург — Франкфурт-на-Майне

Олег Юрьев

СТИХИ И ХОРЫ

ХОР БАЛЛАДНЫЙ

строфа I

Через цепные звенья
Городу — жена,
В диком поле зренья
Река створожена;
Сколько роговицы
У засоренных звезд — — —
Только тени-птицы
У разоренных гнезд.

антистрофа I

А с бронзовых налимов
Льет зеленый прах;
Поверху малинов
Рукав. И плащ. И флаг.
Над окопным садом
Два циркуля луны — — —
Наддвоённым взглядом
До цоколя мутны.

строфа II

Через хребет затменья
Вытекла страна,
В диком мясе пеня
Уж не заточена;

Как из теменницы
Изоблачен нарост — — —
Знают темновидцы
Из облачных борозд.

антистрофа II

В разломах равелинов —
Полукожный шлак.
Кумпол исполинов
Весь выточен на швах.
А над плац-парадом
Казенной тишины — — —
Две, светящих задом,
Крестовых кривизны.

эпод

Вышел я из дому,
Но не знаю где —
К черному пролому,
К слепнущей звезде;
Над полузреньем яви,
Под удвоеньем сна... — — —
А то, что я запомню —
То не моя вина.
91

ДОЖДЬ

Пустили йодный газ магнольные кусты;
Взлетели сцепленные в щиколотках тени;
Взмахнули девять раз небесные косцы,
И — дождь упал на все свои колени.

С тех пор как тишина, я не люблю дождей.
Напоминают мне их съемные дрожала
О мгле затопленных московских площадей,
О пепле петербургского пожара,

Где та же темнота, похожая на тьму,
Лишь кое-где по краешку блестела,
А тело пустоты летело прочь в дыму —
Как ласточка, наискосок, без тела.

Я чуял этот дым еще издалека
В берлинском подслащённом полумраке;
Он реял надо мной, чуть видимый пока,
— Или уже — , в каменоломнях Праги;

Его пернатый шар к гнилой земле гнела
Варшавских облаков подкопченная корка;
Он ветошью стекал по черноте стекла
В членисторогом воздухе Нью-Йорка;

Он смешивался, на просветах рдян,
В апрельской пустоте, магнольной и миндальной,
С тенями дымных кельнских громадян,
Застывших над дырой пирамидальной;

В кольце его пелен что ласточка стоял
Пространством скиснувшим сорящий двуугольник;
Его был расплоен курчавый материал
В дождем обызвествленных колокольнях

ночных. ... Когда ж они, распавшись на куски,
Асфальт обшмыгали наждачными зверками,
Полуисчезшие небесные клинки
В десятый раз — в последний — просверкали,

И темнота пошла, как лестница, наверх,
Хоть плоские огни на мостовых дрожали...
... Я только и успел вдохнуть последний сверк,
Когда мне сердце сжали и разжали.

92

ШЕСТОЕ

1.

Стихи:— сизомяс-оковалок
В распаханной тверди ртяной... —
Бывало ж и я отмывал их
Щечочуще-горькой слюной

2.

И влизывал липкие дрожжи
В каких-то еврейских ежих,
И перья расслабленной кожи
Пупырьками терли язык:—
Любовь? — ею пахнет в рыбаге
В синеющих полосах жечь;
Прожёлченной этой бумагой
Пол-жизни не пережечь...;

3.

Пол-жизни я знаю наощупь,
Руками, загребшими тьмы

Осеннюю влажную ощепь,
Змеиную осыпь зимы:—
Что дом? — просто камень змеиный
У однобережной реки:
Подъемы и вьемы, крайны,
Царапины и узелки —
Шершавый под тонким зализом,
Весь медленно-плоский, что шар, —
Он ухал подмоченным низом,
Подмошенным верхом шуршал,

4.

Но все, что услышал я, неслух, —
Как некто заперхал и сник:
Скрипящий передник на чреслах —
Что, рыбник? змеевник? мясник?
Молчание звука не краше ль,
Раз в нем окончанья слышны? —
Коль смерть — ледериновый кашель
И похруст на дне тишины;

5.

Но Бог — голубые приливы
Ко зрительным нитям в мозгу
За ртутными ртами оливы
Совсем на другом берегу.

6.

ГУТТАПЕРЧЕЙ ЦЕЛЬНОЛИТНОЙ...

Гуттаперчей цельнолитной
Наполняется к полночи сердце.
Кто же — ночью —
Поддевает створку стамеской,
Кто искрящейся шкуркой
Стирает облой с отливки,
И куда он всякий раз уносит
Незадавшийся мячик?

И сколько их вообще нужно?

92

ЛЕДЯНОЙ ДОМ

Когда в растерзанных полях
Зима вздыхает, как поляк
Неровноосою соломой, —
Кривится над рекой соленой
Звезда — как у коня во лбу; —
И тучный конь из тьмы зеленой
Сопит сквозь нижнюю губу.

По льду всю ночь коньки без ног
— И бегунок, и горбунок —
Кружились с искрящимся вжиком;
Холмов промерзнувших ежикам
Был страшен их дроблёный сверк; —
И опускался с недожигом
К ногам шутихи фейерверк.

В ее расколоте дому
Скользил в дыму из тьмы во тьму
По половине луч мышинный;
Заря женильною морщиной
Сползла на кисейный брег; —
И над рассевшейся машиной
Взвывал поляк — как древний грек.

93

Нет забвенья и никогда не будет.

Не за ним я уехал в далекий город,
Где змеиный воздух снует кольчато,
С пустоты сгоняя за кожей кожу,
Где в волнистом небе кричат галчата
И стучат ногами в раздранный бубен,
Где в клекочущих пирамидальных горах
Собран сор пергаментный и кровавый,
Где гроза глотает мгновенный ворох

Переломленных молний над переправой.
Я проснусь на заре от стыда и злобы
В зарастающих мылом глазах монгола.
Соляные башни сверкают в окнах
Розовато, как сказано было, и серо.
От грозы осталось на крышах мокрых
И в продольных порезах речного горла
Ровно столько волнистого блеска, чтобы

Не порвались десятилетние звенья.
Я не пробовал золота большей пробы,
Потому что и там его нет, забвенья.

93

ПЕРЕХОД ГРАНИЦЫ

1.

Бабочки борзые на прозрачной сворке
Осаждают воздух, обмеревший в норке.
Солнце замытое пахнет мочою...
И воска полоска поперек речки...

2.

Я — застывший рыбарь в сапогах до паха,
Табак пожелтым процвела рубаха,
Ивка стоит надо мной со свечою,
С пальцев соскальзывают колечки:

3.

Скоро без остатку погрузятся в глину
волосы и руки — И взойдет на спину
Ворон с изогнутым окуном в клеве:
И ночь стрекошце съедет по рельсам.

4.

Стало, заночую в погорелой горке.
Вроде бы и близко, да дозоры зорки, —
Тлеет селенье в туманной плеве,
Осели сети над лиловым лесом.

5.

На рассвете речка ближе залоснится,
Это на два шага перешла граница
старую линию черных дупел —
От котловины до половины сухого бора.

6.

Нужно собираться — развинчивать коленца
удочек и дудочек; Пеленать младенца,
Что белоусые бровья насупил.

7.

Сюда уже будут скоро.

93

ЗИМА 1993

Реки рассеченная шкурка
Медлительным дыбом встает,
Из жёлез ночных Ленинграда
Сгустившийся капает йод.

Прошел я от летнего сада
Сквозь жирные бронхи зимы
На красный корабль инженера
В обводах задушенной тьмы.

Дымила невкусная сера
Из серого тела в гробу,
И целкал пробитый хрусталик
Замерзшего зренья во лбу,

И серые птицы из калек
Кружили над сетью дождя,
Младенец кричал, как цикада,
В дымящийся ров уходя.

И плоская тень Петербурга
Склонялась к обратным местам,
И странные, узкие люки
Всю ночь раскрывались там.

93

ХОР НА ДЕРЕВО И МЕДЬ

строфа I

Кажется, вышелушились бесследно
Зерна глазного пшена,
Только и видит обратное зрение,
Ясное дотемна:
Старые сумерки реже и бреннее
Вычесанного руна,
Старое дерево медно,
Старая медь зелена.

антистрофа I

Пойте, славянки, во мгле переулка,
Шелком шурша о бока,
Не обернуться лицом нераскаянным,
Не обернуться, пока
Толстые змеи идут по окраинам,
Мохнатая машет рука —
Русское дерево гулко,
Немецкая медь глубока.

строфа II

За языком бы... Да много ли смысла
В мертвой слюне палача?
Много ль осталось обедков у барина,
Латных обносков с плеча?
Бывшая жизнь ужурчит, переварена,
Склизкую ткань щекоча —
Взмокшее дерево кисло,
Скисшая медь горяча.

антистрофа II

То, что в окраинном ветре гугнило,
Выветрилось без следа,
Только ржавеет на мшистых обочинах
Выкачанная руда.
Старые девушки в платьях намоченных,
Смолкните в никуда —
Поющее дерево гнило,
Поющая медь молода.

эпод

Кажется, все уже начисто сплавлено —
Доверху высвобождена река.
Кажется, все уже намертво сплавлено —
Донизу выработана руда.
Все, что распалось, по горсточкам взвешено
В призраке выключенного луча.
Все, что осталось, по шерсточкам взвешено
В золоте вычесанного руна.

Нина Волкова

МАША И МЕДВЕДЬ

*Бедный, бледный, белый бес
убежал за речку в лес.*

ПРЕДИСЛОВИЕ

Мы хотим говорить о необязательных вещах — о новых мистиках, что выросли в новых районах.

Мы имеем в виду конец века.

Мы не хотим относиться к новым мистикам слишком серьезно, их мысли чересчур легки, а дни чересчур ленивы.

Мы видим избыток цитат в их жизни — но что делать?

Таким образом мы предупредили.

И еще:

Героиня помешалась на своем отражении, она стоит спиной к трюмо с зеркалом в руке и хочет видеть не только затылок, но и свое лицо в отраженном третьем зеркале, — а потом профиль отразившегося отражения — а потом левую створку в правой и наоборот... Она не сильна в физике и не помнит, чему там равен угол падения.

Или — игра в собачку, морочившая в детстве. Конфета «А ну-ка отними», на ней девочка дразнит собачку той же конфетой, на которой девочка дразнит собачку — она съела кусок мяса, он ее убил. Бесконечно, и лучше помотать головой и подумать о другом.

А ну-ка отними — мы говорим об отражении в пятом зеркале и о последней собачке на последней конфетке. Не ждите от нас большего.

I. КОМПИАЦИИ

Вот я сплету тебе на милетский манер разные басни.

В некоторой деревне (может быть, той самой, где Марусин упырь ел мертвеца в церкви) жили два друга. Среди прочих клятв они непременно обещались быть друг у друга на свадьбах, если уж будут свадьбы. Их звали, может быть, Пьеро и Арлекин, а история, может быть, в греческом вкусе, как сказали бы во времена Пушкина. Ну вот. Один не дождал до счастья братца, и счастье наступило. По дороге в церковь одинокий жених, то ли уважая традицию, то ли от тоски события, то ли чтоб испросить разрешения у прежней любви — зашел на кладбище. Конечно, это та самая Марусина деревня, потому что он ничуть не удивился, увидев дорогую тень в натуре у могилки. Или он того и ждал, как некто Леилы? Покойник предложил дружку спуститься и выпить за здоровье, что уже смешно. Живой отказывался, говорил «некогда» — но это было лишь кокетство, за которое и поплатился. В конце концов спустились — куда-то вниз, в яму или в ад. Выпили первую чашу — прошло сто лет на земле. Выпили вторую — живой ломался уже меньше — прошло двести лет. Выпили третью — прошло триста лет.

Потом они спокойно простились, живой надеялся успеть к свадьбе. Мне нравится конец, он ужасен: бедняжка, вернулся с кладбища и увидел, что деревня не та, и собачка под воротами не та, и церковь другая... Потом кто-то привел батюшку, который и нашел в старой книге запись, как триста лет назад пропал перед свадьбой жених.

Но чем объяснить коварство покойника? Ведь живой не забыл и исполнил обещание. Конечно, ревность. Мертвец мечтал в сыром гробу, что увидев ужас нелюбимого, чужого

будущего, несчастный скорее вернется назад — в могилу, в яму, в ад, на его грудь.

Но я не о том. Что же делать — в этой деревне, с этой церковью и собачкой?

От первого лица — проще, но неверно. Мою девочку зовут, например, Марфенькой. Марфенек было несколько. Из «Обрыва» — румяная прелесть с молодой, как любили писать бородатые разночинцы, здоровой грудью. Она сидит на постели и сладко плачет над алмазными серьгами — нет не та. Из «Приглашения на казнь» — через «и» — несколько гаже, но ближе. Эта чертила свой мир пальцем на столе; как хорошо в мире, начерченном пальцем. Да, хорошее имя, но не слишком ли экзотическое — может быть, лучше просто Маша. Маш побольше — пропустим Марий, они не к нам, вечная Маша спорила с императрицей, не пошла за Швабрина и Дубровского, а нашла себе в лесу Михаила Потаповича — дурака, что было посоветовано Офелии. Но, как Офелия, она не поняла своего счастья и, обманув дурака пирожками, вернулась домой. Дома ее бил брат, первоклассный поэт. Она любила Nicolas Ставрогина и называла его: мой князь, а магнитофон за стеной подпевал: князь тишины.

Маша или Марфенька, все равно. Стояли рождественский сочельник, мороз и два стула. Милая барышня, похожая на иудейскую царицу, гадала Марфеньке по руке после долгих уговоров.

Барышня прелестна: смуглая, с трогательной походкой, а голос, как колокольчик фарфоровый в желтом Китае. Она не сомневалась в своем гаданье и говорила почти серьезно, какая ты властная, какая ты раздвоенная, какая ты трусливая, — раздвоенная Маша улыбалась ей и пожимала плечами, любуясь своей бессильной рукой в чужих пальцах, прозрачная кожа, синие жилки и родинка на запястьи, Нар-

цисс, — не сделаешь карьеры, благополучная жизнь без осложнений, сексуальная активность, интеллект и эмоциональность, полное отсутствие благородства и самопожертвования — смотри, совсем нет линии, вот и все, очень простая рука... — гадалка профессионально разочаровалась. Нагадала и ушла, уехала, уплыла за море, то ли на работу, то ли насовсем. Жаль.

Сколько угодно гаданий, тестов, гороскопов, Марфенька не верила им, но любила, как шашьянсы — сойдется или нет. На ее руке не было линии судьбы, а ногти отгибались от ладони, что означало: она не та, за какую себя выдает. А все лошади, бараны, огни, саламандры и прочий винегрет. Свет вступает в брак с хаосом. Золотой век, влага и добро. Зеленый дракон. Если б это что-нибудь значило.

Говорила ведьма Сарраска: «Ну что там поминать прошлое, мой беанчик?» Дурные сны, мой беанчик. То снится, что у кого-то нет лица, а только плечо, ощущаемое губами. То снится черная собака, при которой нельзя думать, она ходит по пятам и немного, но ужасно жует мою руку. То бесконечно грустный, мертвый, ласковый. Какие сны мешали тучному и одышливому принцу быть царем бесконечности в ореховой скорлупке?

Вот еще сон: показывают игрушку, плюшевого мутанта-полузайца в штанах на помочах, и говорят хором — «это и есть степной волк». А я смотрю на него и понимаю — да, это и есть Степной Волк.

Господи, что еще за Волк? Марфенька вспоминает: Чердак, солнце в окошке, газеты времен культа личности, на сене и по углам живут пауки, боюсь, колкие корзинки, яблоки. Здесь давно, как эти газеты, пылится статуэтка темного металла — женщина с огромной диковатой собакой (наверное, «Бдительность» или «Сталинская Артемиды»). Может

быть, это и есть Степной Волк? Или он жил в журнале «Юный натуралист», который мы с Ольгой читали в первые годы жизни школы. Нам казалось, что мы любим науки: биологию, зоологию, палеонтологию и еще бог знает какие логики... Это род городских детей с отсутствующими глазами, детей нарисованного мира. (Потом их увел Крысолов) Мы выдумывали приключения, врали и верили себе, палисадник с клумбой стоял Муромским лесом. Наши науки, как любые знания и книги потом, были только тем неудобством в боку, от которого рождаются невероятные сны. Они доходили до абсурда, но не до юннатского кружка. Единственный наш юннат — на дороге чибис, на дороге чибис, зачирикало тут же в Машинной голове, — появлялся раз в месяц в почтовом ящике. У Ольги еще были хомяки, а у меня что? Одно обезьянство. Правда, был когда-то аквариум. (О, будущий «Аквариум», сочетание наивной туманности и точных попаданий в цель. О, сомнительный, но несомненный шармер БГ. О, как подхватили даже тоскующие о любви шлюшки в эпоху легализации наследия: Держи меня. Будь со мной. Храни меня, пока не начался джаз, — с восклицательными знаками вместо моих точек. О, как грустно кончилась сказка для этих рыбок, как печально выигрывать войну).

Итак, не зоопарк и не цирк, а «Юный натуралист», музеи и кунсткамеры. Кунсткамера же — в Ленинграде, а Ленинград — большая детская ценность: там разводят мосты, там Ольги тетка с котом Павлом, Петр I, акварельные краски и булки на деревьях. Город-аквариум или город — «Аквариум», родной, происшедший от того же неудобства в боку. Там живет... Да мало ли кто там живет. Марфенька получала оттуда письма: «Лед уже согнало в залив, а у крепости, представляешь, уже загорают...» Господи Боже мой.

Она жила в совсем другом городе, не имевшем ничего особенного, кроме, может быть, прелестной загаженной голицынской усадьбы с церковкой великого зодчего. Впрочем, в любом русском месте есть голицынская усадьба.

Маша была смешна: Она любила этот город, но презрительно, как подросток или герой длиннейшего романа продетарского писателя, брезговала жизнью в нем. «Они», — говорила Маша, в «них» все дело. Они знают слова: смелые высказывания, в торговле воруют, жить в смысле сожительствовать, труд создал из обезьяны человека. Они говорят: мы читали, словно они Франческа и Паоло или читают хором. Они смотрят голое видеотело, но по-настоящему их трогает лишь одежда ближнего. Они варят холодцы из чужого копыта; они практичны; им многое, но не все разрешили. Я не хочу им улыбаться.

От «них» Маша убегала. Это делалось, например, так: Марфенькин Китай.

Нарисованная пальцем страна, чистый дизайн; Марфенька была слишком маленькой и глупой, чтобы искать Индию духа. Китай. Попыток нет — я их боюсь, отворачиваюсь от экрана и перелистываю страницы. Что есть: тот самый Цин Лун висит на гвозде в кооперативном исполнении, соединяя Поднебесную с перестройка. Осень в Ханьском дворце: наложница, подобная цветку, утопилась, все сложили приличные случаю стихи. Отец Иакинф спит с китайской принцессой, помня Таню, как Штирлиц всегда помнил Сашеньку. — А как принцесса выговаривала его имя? — А зачем ей выговаривать? «Курсанты на эскалаторе спрашивают меня — правда, что в ваших песнях есть из Чжуан-Цзы? — Правда, отвечаю я и радуюсь». (Отрывок для театра абсурда). Все до фени Ляо-шу-фень, фрейлине великой Феи.

Или еще способ: она пела песни, нелепые песни, а если

они не были нелепы, Марфенька старательно вычленяла странность из вроде бы нормы. Шарм; она называла это шарм или парадокс, не имея точного термина. Шмерле на скрипочке, Янкель на трубе. Гимназистка седьмого класса, что пьет самогонку заместо кваса. Башетунмай. И с ними — Вертинский, Гайдн (Марфенька слегка сомневалась — «Корабль уходит в даль морей» — Гайдн ли? Кажется, он.) «Сестра» из кризиса «Аквариума», «Мишель» из расцвета «Битлз»... Она пела их как под шарманку, без свидетелей, в состоянии приятного обалдения, и незыблемо уважала наравне с русской литературой или Леонардо. Можно было бы вписать, подобно Кузмину в радостный перечень «что я люблю» — люблю чай вечером, говорить глупости с умными, кошек и кольца, новые старые книги и песенки.

В сущности, все уже сказано — как и эта фраза. (Нет ничего лучше кузминского списка привязанностей). Но пишем же плагиат дальше! (После Расина, серебра, янтаря он ставит — люблю спать под мехом без белья). Дальше.

Если б Маша жила по соседству, в Японии, она писала бы то же самое, несколько видоизменив. Добросовестные классификации — моно-но аварэ, хэйанская, что ли, проза — что хорошо, что непростительно, от чего сжимается сердце. Например, так. Приятно, когда:

— заварен свежий чай, и ложка, сначала золотистая, все темнеет, погружаясь, и совсем растворяется на дне чашки;

— стоит теплая летняя ночь, и ночная фиалка (нет, не Блок, скорей Северянин-маттио-ола) пахнет корицей и ванилью;

— вспоминаешь детские книги, качели, стол под яблоней и другие банальности;

— кто-то пишет: зелень лавра, доходящая до дрожи, или: пьяной горечью Фалерна чашу мне наполни, мальчик, или

даже: я мог бы остаться целым, но это не в правилах цирка;
— шутишь с умеющим шутить и надеваешь новое платье;
— зал полупуст, но все, кто купил билет, собрались,
наконец гаснет свет, занавес разъезжается и открывает экран...

* * *

— Молись за нас, молись за нас, — заклинал похожий на ангела в белом луче бывший лидер отечественного андерграунда, — если ты можешь, — заканчивал он, отваживаясь на некоторую горечь.

Он, как варус, выпрямлялся и поднимал голову, отбрасывая волосы с лица и закрывая глаза, похожий не только на ангела, но и на шамана; или на штамп казнимого юного героя, на расстрел; музыка тревожилась и выходила к свету; зал умирал, вздымая руки; а я пила чай со сгущенным молоком. Он был прав — вот такой, похожий на все перечисленное. Я тоже права.

II. ПРИГОРОД

Гроза, за Машиным окном туча, накрывшая город. Это не совсем город — за-городом, пригород, «ЛПЗ», как написано в Машинном паспорте, если существует Машин паспорт. Гроза. Гремит, сверкает, окно открыто — «ну же, Илья-пророк!» — катятся крупные капли на подоконник, карниз громыкает и дрожит, словно едет в трамвае. Дальше по шоссе, над холмами, над Москвой, уже посветлело. Дождь идет. Городок, городишко, пригород. В нем тоже выбирали свою красавицу. Он стоит на дороге — огромной и в огнях, видной из машиного окна. Дорогу когда-то писал грустный больной Левитан; он жил недалеко. Под веселый звон цепей здесь шли разбойники и вожди, что и устроило дороге в

светлом настоящем песенное имя Шоссе Энтузиастов. Главный вождь не ходил по шоссе, но стоял в городке во множестве, и даже два вождя — один в двух лицах — окружали один дом. Это достопримечательность места: первый серебряный, простер десницу и смотрит с обочины на искоженную дорогу; второй, через дом, но по той же линии, темный, как Пушкин, руки в карманы засунул и улыбается кооперативному («общество цивилизованных кооператоров») магазину «Дары природы»... Мимо идут демонстрации, отеческий голос из радио кричит: Нам всем, молодцам из первой колонны — ура-а! Нам всем, молодцам из пятой колонны — ура-а! Молодцы отвечают — ура, ура.

Это старый центр города. Раньше Марфенька жила здесь. Чудеса творились: исчезали любимые детские места. Вот овраг по обочине шоссе, раньше там были заросли травы и дикие гвоздики — теперь нет оврага, насыпь с рыжей глиной и вечная стройка. Вот кладбище, такое старое, что деревья сплетались ветвями, как виноград, и могилы слились; вот дорожка через кладбище, по ней боялись ходить и разглядывали жуткие младенческие лица на уцелевших надгробиях — нет ничего, сносят, чтоб построить на костях, верно, Санкт-Петербургъ. Вот огромное овсяное-ржаное поле, переходящее в лес, где дети собирали васильки, загорали и тосковали, глядя на облака, на небо Аустерлица — и поля нет, стоят дома и дома, углом и прямо. Марфеньке не больно, она выросла в новом районе глупого города и не воевала с ним; она бродила, как в чаще, среди некрасивых зданий и любила звук своих шагов на асфальте; она чувствовала себя гостьей и хозяйкой — словом, Шамаханской царицей с детского праздника, о которой позже... Была тревога в превращениях города и мира вокруг.

Десять лет строился кинотеатр неподалеку от Машиного

дома. Его окружили: чистенькая площадь с дорожками и ложноклассическими фонарями, храмовое сооружение под вывеской «Туалет» в зловонных лужах и дикой архитектуры ресторан, утеха местной унылой мафии, с первого взгляда на который, как сказано в антисоветском фарсе, вспомнишь Лас-Вегас, со второго — сразу забудешь. Кинотеатр-развалина с двумя залами, изображение и звук ужасны, но вот кричит мучительный человек с экрана зимой: Люди, до чего же вы дошли, если безумец учит вас жить! — и сжигает себя на площади; что делать с ним дрожащей от холода и горя Марфеньке в полупустом зале, между рестораном, туалетом и площадью?

После сеанса раскрывались двери и выводили зрителей на Бродвей, какой есть в каждом городишке. Разноязыкая толпа день и ночь пульсирует на Бродвее (нет только негров). Девица в юбке поверх купальника, старушка в телогрейке и валенках, мужик в косе и шортах; вполне европейские красотки, подмосковный двойник Цоя, пьяные ветераны всех войн, трезвые разнообразные люди, ужасные советские беременные, восточные торговцы с товаром; Марфенька, наконец. Толпа разноязыкая, но отчетливо слышен самый короткий и выразительный язык мира. От примитива (перед Машей шедшая милая школьница с бантиком остановилась и крикнула кому-то: Сидорова! А я думаю, что за блядь идет!) до поразительных построений, которые говорят о большом филологическом чутье.

На всех углах и дверях, без запятых и орфографических тонкостей, бормотало воззвание: Протестуйте, протестуйте против строительства окружной дороги, она уничтожит наше единственное, наши парки, наш ЛЕС, — и неожиданно страшно, — она заключит нас в петлю «Шоссе-окружная», в удавку, и задушит...

Был в городке старый парк; там когда-то гуляла маленькая Маша. Она помнила, как однажды в аллее встретила черную кривую бабку — бабка поцеловала Машу и сказала: Христос воскрес, деточка. Была Пасха. У Маши от встречи осталась конфетка и непонятная неловкость. В парке текла река, зараженная бог знает чем, стояли гипсовые пионеры, павильоны, фонтанчики-белки — все меньше и меньше — и карусели, ездил лодочник с таратайкой, самое страшное — Чертовое колесо. На Чертовом колесе Маша всегда проходила смертный путь от веселья к отчаянью и от отчаянья к надежде, она закрывала, поднявшись выше деревьев, от ужаса глаза и не чаяла остаться целой (что не правилах цирка)... потом ужас проходил и повторялся логично где-нибудь через год.

По берегу реки без названия шла длинная прогулочная тропа в праздничной свежести, лужайки и трава, там можно лежать, спрятавшись от солнца за кусты, болтать и смотреть на уродливых купальщиков. Белые ноги, животы, дряблые бедра, скучные голоса, синие мальчики и одинаковые девочки. Здесь не в кого влюбиться, надо приводить с собой. Смотри, какой ребенок... Вот и пауки, привет... Я тоже хочу мороженое... Не волнуйтесь, бабуля, мы уже уходим...

А если, для любителей-мистиков (и Маша — мистик, но ленивый), принять все дороги прямыми — любая дорога, как направление, прямая — то городские пути образовывали многозначительный крест. На запад поедешь — в столицу попадешь, к станции метро, под землю, к черту в ад или на грудь покойника (туда смотрит Марфенькино окно). На восток поедешь — Бог знает, что там, на Востоке, может, Дамаск — только рано или поздно окажешься в еще более дремучем городке-огороде, раньше называвшемся Богояв-

ленск либо Богородск; оттуда подтверждая кризис, а отнюдь не ренессанс ортодоксального православия, все кто мог ехали в подземные дворцы... И была развилка на Шоссе под рукой белого вождя: направо пойдешь — будет пряничная Николо-Архангельская церковь в селе Никольском, непамятник архитектуры; налево пойдешь — привезет автобус в село снова Никольское, в церковь уже Рождества Богородицы и охраняется государством. Марфенька была в обеих, в обеих слушала с пустым сердцем, обходила коленопреклоненных старух. Ей показалось, что в охраняемой государством московские певчие поют божественней, но бабушка в коротких волосах и отличных, на зависть, очках холоден и сух.

На всех этих дорогах и развилках преследовало желание загадать, отгадать, прочитать судьбу, и Маша шла по пыльному городу, безрадостно вглядывалась в него: ворона сидит — что будет через день? Щербины в асфальте — сколько их и сбудется ли желание? Расположение кустов и номера машин — выйдет ли моя жизнь? И карты маленькие и большие, пять колод всех видов — кто не окунулся в них, то не поймет глубокого, не-игрового, не-азартного их колдовства, таинства просто — перемешиваний и выпадений — судьба в картинках, роковой лубок. Что они скажут? По всем правилам, где король между тузом и десяткой означал получение чина, выходил бред — вести с моря о гибели корабля. Марфенька не верила и разумным предсказаниям, но боялась темных бумажных сил и раскладывала снова — без конца.

* * *

А если вы ехали по шоссе в сторону столицы, к черту, то могли видеть на обочине — весь городок, как пикник, стоял на обочине, — страшное ступенчатое здание огромных

размеров. Капище, — называла его Маша и ждала, когда же его достроят, сколько еще предстоит мрачных ступеней, но стройка не кончалась. Этот дом стоял на месте ностальгического пустыря с гвоздиками и глядел напротив — на прекрасную заросшую усадьбу с церковкой без креста, что выглядывает из кущей;

В старой усадьбе — в том сыром парке — в комплексе помещений варварского института ВСХИЗО — там было хорошо. Когда-то через усадьбу ходили в лес на уроки физкультуры, пыточные кроссы и лыжные пробеги. Марфинька была неспортивна, бегала с ненавистью, чувствуя свои внутренности, на лыжах ходила, как в сандалях и однажды заплакала перед планкой, потому что ни морально, ни физически не могла ее перепрыгнуть...

Усадьба разрушалась, но о ней заботились — покрасили синькой многочисленные колонны (а сами дома — в национальный желтый цвет), набили на церковь, где общественно-политический читальный зал, веселую амбарную дверь, забрали окна решетками и на каждом здании крупно поставили номер.

Жуткие загробные шутки ждали вас на каждом шагу. Идите на вопли кошек, и в середине вороньего плаца (там был, говорят, каретный двор) в сумерках вы увидите уходящий в землю каземат с табличкой: каф. анатомии. И спастись по усыпанной подозрительными костями тропинке не удастся, ибо выйдете вы, едва не поломав ноги, не на просто, а на крутой обрыв и мусорные ящики, пейзаж «Сталкера». За углом же, для добития клиента, между церковью (кресты сняты, нечисть живет среди политических книг) и бывшим театром страшно засветится под фонарем свежепосеребрянный бюст того же вождя. Он безобразен и непохож, он имел бы успех у папуасов. И тут же лягушки, пти-

цы, сверчки, автомобили с шоссе и ветхие мертвецы с потревоженного кладбища хором закричат из-под обрыва.

Но там было хорошо. Бывшая усадьба, бывшие фонтаны, бывшие сфинксы, бедные, ободранные. Осенью шуршали листья — столетние клены, дубы, липы; созревали на кустах неизвестные упругие ягоды, придавишь их ногой — хлопнет... Летом прятались от дождя на церковном крыльце. Весной, может быть, рассвет. Зимой просто снег.

* * *

В лесу за усадебным парком можно найти горнолыжную базу с искусственной горой — городскую гордость. Райский пейзаж у подножия: луг, заболоченная речка, заросли и поросли, желтая вершина над зеленью. Однажды Марфеньку уговорили подняться туда. Сердце выскакивало и ноги отнялись, но она залезла на самый верх и испугалась — под ногами был голый остров из сухого песка, мусора и камней, по склону виднелись неясные дыры, из которых выглядывала рвань и шел дым. Гора оказалась вулканом из мусора. Стоя на вершине вулкана из мусора, они видели весь парк в цветных пятнах гуляющих и дальше — весь город: кусты зданий, ступенчатое капище напротив, Машин дом-башню с близнецом, левое Никольское и почти что правое Никольское, Чертово колесо в другом парке, кладбище, похожее на густой газон; и игрушечные краны со всех сторон, и дальние леса, и бесконечные машины на шоссе.

III. ДЕТСТВО-ОТРОЧЕСТВО

Давным-давно в быв. Тверской губернии текла речка с бессмысленным названием Тьмака и росли незабудки на берегу. Больше нигде Маша не видела незабудок. Она вспо-

минает, по-русски идеализируя прошлое: вот старый дом, вот велосипед, вот яблоня; она хочет и не может избавиться от банальностей и скрытого пафоса, от школьного «ужасно».

«В одно прекрасное лето. Оно и правда было прекрасным. Сколько мне лет, не помню, может быть, одиннадцать; время еще тянулось медленно. Обломовка-полусон, мечты, книжки, в саду стоит стол для чая. Пять деревьев, за ними огород, бочка с водой, дорога к колодцу. Сверху качаются ветки с зелеными яблоками и зеленые червячки, снизу — трава и высокие одуванчики. Еще редкие длинные маки, темная смола на вишне, малина и клубника, чужие кошки, овчинный тулуп, который я подстилаю, чтоб сидеть на крыльце в дождь. Непозитический хрен у забора. Пугали неизбежные жуки, гусеницы, стрекозы. По ночам, чтоб меня извести, с наружной стороны окна вылезает огромный паук и сидит до утра, любителю луной. Однажды из огорода приполз невиданный мохнатый червяк. Он полз, повторяя изгибы дорожки, и нагонял ужас, потому что поднял голову словно на шее и смотрел на меня. Но его узнали — «это медведка», — убили, унесли, я спаслась. В остальном там был райский сад, как писал старый, красивый, горький поэт — белый-белый день, — и потом — Никогда я не был счастливее, чем тогда. Никогда я не был счастливее, чем тогда.

Никогда я не был. В райском саду никто не мешал рисовать мир пальцем, только мешал дезинформацией еще любимый телевизор — он тоже рисовал пальцем, — да солнце садилось, как у одного клариста, за дальние огороды. В соседнем дворе рос огромный тополь; не знаю, огромный ли на самом деле, но я запомнила его баобабом, уходящим в небо. Впрочем, я не видела баобабов — уходят ли

они в небо? Хватило двух книг на все лето — «Трех цветов времени» и тома плутовских романов. Я спала под яблоней днем, ела незрелый мак, — он еще не был наркотиком в том пошехонском далеке и выдумывала большое общество. Счастье?

Нет, помню еще раньше: участок для гуляния в детском саду и трехстенная веранда в виде сцены на нем. Все огромное, огромная песочница увита настурцией, пропавшей в моей жизни, как незабудки Тверской губернии, огромная воспитательница встала над кроватью: всем спать, на правый бок, ручки под щечку. Я хожу по краю веранды, где-то рядом подразумевается публика, а ближе публики — князь Гвидон, который пока больше принц, чем князь. Все озвучено нежнейшим, моим ли, голосом: Ты, царевич мой прекрасный, что ты тих, как день ненастный? Жарко, лето, солнце и песок. Сейчас забор детского сада мне по пояс, но это уже неправда.

Или вспомним костюмированный праздник там же и тогда же. Поводом к празднику был идеологический юбилей «дружбы народов», которую и изображали забывшие об идеологии наряженные дети. Платье, должное быть туркменским, показалось сразу до смеха безобразным — но досталось именно мне. Детским идеалом красоты и костюма считалась грузинка. Я плакала про себя. Но когда нежеланный наряд был готов полностью, когда я надела на голову невероятный, вряд ли виданный в Туркмении головной убор с длинными нитями бус и камешками, я уже не желала ничего другого. Я буду лучше и интереснее всех. До сих пор помню то ощущение себя — как это можно быть другой? Какое несчастье — быть другой.

И другого платья, и другого убора не может быть — только мой, волшебный, царский. Царица Савская. Нет, ее

еще не было, она появилась позже из Киплинга. Какая-то сказка о бабочке. Помню картинку с деревом, мотыльком и ужасным Соломоном; у царя ассирийская борода и толстые пальцы. Он безобразен, и царица некрасива, прежде всего из-за имени. Разве можно так называть красавицу — Балкис-Македа, да еще Савская.

Я была шемаханская царица...»

* * *

Ни разу Маша не поднялась по детсадовской, а потом — школьной лестнице как просто девочка с косой и яркими губами, без шуршащего шлейфа или вооруженных спутников. Она опускала глаза — или не опускала под несуществующими заинтересованными взглядами. Может быть, они существовали? Ей было не важно, как на самом деле, интереснее договаривать чужие слова, находить в них третий смысл, в результате чего они совершенно лишались всякого смысла. Все было написано вилами на воде, а продержалось годы. Играли с подругой в странные, придуманные игры; подруга была раскованней, но Машины идеи, сквозь застенчивость, выходили чудовищней и острее. Они прятались, взрослые не видели. Эти книжки, куклы, заросли, картинки и положения заслонили все; Маша не знала, как покупают картошку.

* * *

«... Такие непонятные страхи. Как страшно, что капитан Гаттерас, слепой и сумасшедший, на прогулке всегда поворачивал на север. Ужасны пионерские «страшные истории» о шагающих простынях и руках, темный фольклор. Еще ужаснее — повесть о Баскервильской собаке (в пионерском лагере, ночью, шепотом рассказывали) — абсурдный мистический

вариант в жанре тех самых страшных историй). Я боялась стареющего портрета Дориана Грея и нашествий слонов — телевизионные ужасы. Что ребенку в советской городской квартире далеко от джунглей — до звериных проблем? Но не верится, что у животных нет души и черных мыслей, и я не сплю, прячусь под одеялом от темноты, думая о них. Темноты тоже боюсь, как Петя из поучительной истории или трусоватый бедный Ваня. Еще один страх, кладбищенский: атеистическая книжка, призванная развеять суеверия, красочно их подсказала. Утопленник в окне, привидение графини, — «глаза дьявола», погребение заживо — штампы, а страшно. (Однажды я испугалась смерти — того, что гроб забивают гвоздями. И до сих пор — ну зачем забивать гроб?) Ну, и конечно же, бедная романтика 70-х годов, пришельцы и Бермудский треугольник. Помню статью в журнальчике — не приснилась ли она — со сводом легенд и «гипотез» почище легенд: четвертое измерение, сошедший с ума кок, нетронутый завтрак, все часы отстали на десять минут, какой-то совсем идиотский «голос моря».

А к собакам до сих пор осталось недоверие: я не боюсь, что укусит, но никогда не стану держать дома — а вдруг она завоюет и засветится в темноте?

Моя двоюродная бабушка была баптисткой и сошла с ума. Я ее совсем не знала и ничего не помню, кроме конфет, черных икон и запаха валерьянки в ветхом доме. Родная, главная бабушка носила царское сказочное имя Василиса. Она держала в кладовой иконку всех святых на случай и была воплощением русской религиозной трезвости, осторожного безразличия — ну, перекрещусь. Она научила меня играть в карты и получать удовольствие от питья чая — это важное действие, это радость жизни. Я была атеисткой.

В то время помню только одну историю — Дик Сенд, пятнадцатилет-

ний капитан. С него начался (или им кончился) ходульный жюльверновский миф. Все серо-синее собрание сочинений было прочитано — и теперь благополучно забыто. Обидно, что из всех скучных опереточных приключений выделилось самое благонамеренное. Ну уж полюбить бы демонического капитана Немо — нет, Немо вызывал только уважение, а героем стал бесцветный хороший капитанчик, чуть не съеденный дикарями. Конечно, он был не один — все равно все корабли, рифы, рыбы и людоеды вращались вокруг меня, любимой, и из-за меня же английские лорды и индийские бунтовщики бросали свои войны и семьи.

Потом были традиционные мушкетеры, общее место. Но между приключениями на всех широтах и плюмажными жеребцами поместился греческий мир; ненадолго, но глубоко. Эллины. Хитоны, туники и гетеры. Ионический, дорический и коринфский — коринфский с финтифлюшками еще помню, дорический с трудом, ионический совсем забыла. Рынки рабов, Пирей, прекрасная Онар. Кентавр Хирон сходит в Аид, все рыдает — это и впрямь грустно. Одиссей не нравился, казался грубым. Глаза были голубые — волоокие жены — волосы золотые, губы коралловые: начало подростковой вульгарности. «Арго» проплыл незаметно. Было много детской чувственности — Саша Пыльников, — так подходивший к пастушьему миру Дафниса и Хлои, что учатся у козлов любви. Слава Богу, я не читала тогда ни Лонга, ни Апулея, ни Сатирикон. Дия, мой бледный цветок.

Но было много лишних книг. Рядом с Дюма я читала с удовольствием «Опасные связи», пожимая плечами над соседнею Манон. Да и вообще не нравился цветаевский осьмнадцатый век — фи, пудра, Казанова, мушки и мужские парики. Песня военна, милый снигирь. Я любила жесты; например, «Приговор» Майкова. Говорила себе вслух наиз-

усть: И, упавши на колени, со слезами молвил — Братья!.. Дьявол, дьявол обошел вас! — и прочие прелести.

Вернемся в Тверскую губернию. Еще одно лето; дела летние-велосипедные, как писал живой классик, хорошо начивший и плохо кончивший. До сих пор помню, как неудобно подпрыгивает велосипед, переезжая канаву и как хлещет по щеке куст на повороте. Все та же мушкетерская пошлость; отравленные стрелы, разнономерованные Генрихи в коридорах Лувра; страшный жук-пожарник врезался на лету в мое плечо, оба испугались; «всесильный Ришелье», не дюк, а кардинал, или он тоже дюк, — мы с ним подружились; конский щавель и огромные стрекозы. В Тверской губернии много стрекоз. Воды тоже много — пруды, ручьи, болота. Волга. Я выросла на Волге; во всяком случае, рядом с ней. Жутко читать слова каверинской Лизы Тураевой: Если когда-нибудь утоплюсь, то в Волге. Я не умею плавать и боюсь воды. Волга пугает, особенно в хмурый день, с высокого моста: серая тяжелая вода, где-то в ней скользкие рыбы и утопленники. Волга — река для утопленников.

А в старом бабушкином доме — нет больше ни бабушки, ни прежнего дома, — на чердаке, где Степной Волк со Сталинской Охотницей, истлевают моя старая-старая тетрадка с рисунками. Уже никто и не найдет. Я положила ее за потолочную балку, в щель, — торжественно, как завещание и клад.

Другие клады, всем известные, назывались «Секрет». Берут стекло, под него подкладывают что угодно, лучше блестящее, чтоб ярче просвечивало, и зарывают в землю. Потом стекло, как глазок в замерзшем окне, протирают пальцем и любуются на произведение, весьма недолго. Однажды мы с Ольгой (той самой, с которой плавали в аквариуме) нарушили правила и заложили в-секрет сложенную бумажку с

названиями наших книг. С Ольгиной стороны был Кассиль, «Швамбрания», которую я еще не читала, с моей — «Дорога уходит вдаль». А наше любимое дерево с детсадовской полянки, — лиственница, — оказалось деревом колымских лагерей.

Вспомним другой лагерь, вспомним другой сюжет — «Приключения на берегах Онтарио» в лагерном кино.

Все, все забылось — только смутно видны индейцы, пожар, дорога верхом над обрывом. В пионерском лагере я была только однажды, да и то не до конца смены. Эта неоконченная смена видна так же смутно, как фильм, и не будем отделять настоящее от почудившегося. Может быть, все было на самом деле: дорога во ржи за лагерным забором (невесело звучит «лагерный забор»); толстые чешские пионеры играют в мяч; цепные карусели в конце каждой аллеи и одна огромная, неподвижная — в центре лагеря; розовая ладошка веселого негра из очередных гостей; рисование для неизвестно какого конкурса декорации с рериховскими горами (Рериха еще не было, да и сейчас нет); малоприличная песня про серую юбку бедной сексапильной Мери и насильника-капитана; страшные истории ночью, восхитительно свободные от любой логики, чем и пугают по-звериному; то самое «Онтарио» и поздняя прогулка после сеанса с девицами, кружевные тени листьев на плечах, жуть и свежесть; проливной дождь вместо прощального костра; том Олеси, чудесная книга, где «Зависть», «Три толстяка»; мемуары и рассказы — я читала без энтузиазма... Через десять лет никак не могла понять, что же напоминает эта удивительная начальная фраза «Зависти»: да вот все это — ночной дождь, карусели и негра. Лагерь назывался нежно: «Лесная сказка». Я в Сказке так и не прижилась.

И последняя прогулка, которую вспомним, не прогулка

— хождение за квасом из бабушкиного дома через заброшенную полудеревенскую улицу. Гниющие дома зарастали травой, кривыми кустами и цветами — флоксы, люпины, ромашки, неизвестные мне. Ничего не происходило, но я помню даже свои джинсы. Шла с бидоном, солнце светило, ходили редкие пестрые куры, а за поворотом будет страшноватый индюк. Что-то выдумывала о будущем, своем и подруги — как мы встретимся в таинственном блеске сбывшихся возможностей, и мой блеск будет поярче и позагадочней... Больше ничего, но я так сладко помню и хочу повторить ленивый древесный день, солнце и флоксы. У меня была бесподобная соломенная шляпа...»

Все вернуть, прокрутить еще раз: и как вылезает в окно, и как собираешь вишни, и как выпрямляешься и оправляешь платье, желая быть англазированной барышней после длинного киноромана.

IV. БОГОСЛОВИЕ

После романов — барышней в корсете, после каникулярных историй — примерной школьницей, после вестернов — жертвой. Марфенька смотрела их, погружаясь в сон. Читался только верхний слой, сюжетно-костюмный — орехи сверху торта, — трагедии и нравоучения равно не мешали (после «Театра» — цинической актрисой).

Тогда было настоящее кино, синема, три скамейки. В нем, точно как в Машинных детских эпопеях, слишком много или слишком мало подробностей, слишком взрослые сюжеты. Там объясняют то, что не имеет объяснений и искусно связывают изначально бессвязные вещи.

Однажды зимой, в мороз и метель, этот теплый мир, построенный на фантазиях бездарностей, кончился. Он давно

уже таял, оплывал, сползал к краю, времена и народы путались, а Марфенька не замечала. Ожидая Мессию, евреи ставят рюмку для божьего вестника Ильи — может быть, они хотят смягчить его угощением, чтоб не слишком грозно и не вдруг возвещал перемену. Администратор кинотеатра, как подобревший пророк, мягко предупредил перед сеансом: «Товарищи, кто будет уходить — уходите в левую дверь, а то всех заморозите». Ах, думала Марфенька, зачем я не ушла в левую дверь? Когда мальчик сказал: я могу говорить, когда по скрипучему дому с каплями молока на столе сквозь слезы прошла мать, когда зазвучало тяжело, теми же молочными каплями — «свиданий наших каждое мгновенье...»

Это было больно. Отняли игрушки и разбомбили дом; «но почему больно?» — в десятый раз спрашивала себя Маша, возвращаясь в разбомленный дом. А ведь предупреждал Илья-пророк. Или, может, не Илья, а Гавриил, конечно, Гавриил: он объясняет видения и знает ход событий, он имеет власть над огнем, водой и созревaniem плодов, ведь все это и было только что — огонь, вода и созревание плодов. Еще можешь уйти в левую дверь, — советовал он, знающий ход событий.

Кино, алхимия, кощунство: подражание Творцу. Соревнование; ведь и землю, и свет, и людей надо создать иначе, чем Он. Мои люди будут двигаться иначе, их законы другие, я лягу в траву там, где надо бежать прочь по прежним правилам. Это бред: вокруг люди, но каждый остается один, глядя на освещенное полотно, а через два часа, очнувшись, выходит медленно вон, с удивленным лицом и изменившейся походкой. Это не кино, а нечто выросшее из него; мутант двигает взглядом стаканы и читает Тютчева. С некоторым ужасом он вспоминает родителей — и прежнее سینема,

и музыку, и книги, и что угодно, — не хочет быть, как они, и боится не быть, как они.

Только что там, в полутьме, все было правильно: смерть не замечалась, любовь вызывала тоску, вода оставалась первоосновой мира, а свет был создан раньше солнца. И так страшно спрашивал вечный лежащий на полу герой: Кого же мне водить туда?..

* * *

Нет, Марфенька не любила кино. Она любила жесты, пасьянсы, кошек, ночные фонари.

Из окна ее комнаты на высоком этаже, комнаты-шка-тулки, где картинки, книги, чай, колоды карт, бестолковая музыка — широкий вид ночного шоссе с огоньками свето-форов. Она смотрит вниз. Одна машинка — все ближе, ближе к ней и вот уже — вместе с ней, в темноте и тоске лесов на обочинах, неизвестно куда, мелькают фонари и елки. Нет, страшно. Марфенька задернула шторы.

* * *

Кого же мне водить туда, кого же мне водить туда... И куда? Вроде бы верно — автобус идет долго, за окном пустыри и строительный мусор, темные окна, железнодорожная станция, грязные поля. Мы выехали из города. Никогда не вставала так рано в воскресенье. Зима, снег скрипит, светятся кресты над пряничной церковью. Богомолки парами и по одной тянутся к паперти; моя рука скована непривычной, и я не крещусь, всходя на церковное крыльцо.

Вот она, моя тезка: в середине храма, чистая и новая, за кружевной лампадой. Рядом торговцы, которых ее сын изгонял-изгонял, да не изгнал; теперь они продают его портреты. Мария слишком аккуратно нарисована, чтоб вызы-

вать несветские мысли. Она сидела над книгой, переворачивала прозрачными пальцами страницы, и к ней слетел архангел с лилей в руке, похожий на неотразимого русского демона.

Чего же мне нужно? — думала Маша вяло, перебирая пальцами, как дудку, тонкую рублевую свечу. Рыжий батюшка взмахивал кадилом в толпу молящихся. Старушки повинно, как дети, опускали головы, чтобы воспрять в заданных местах. Исподтишка возникал веселый звон монет, и как во сне приближались из-за спин поникшие сборщицы со свечкой на подносе; первым шел маленький старичок со всклоченной бородой. Бормотали: Спаси вас, Господи, Спаси вас, Господи... Вот опять появились и прошли рядом, Маша положила приготовленные в перчатке монеты и увидела, что старичок превратился в другого: по-католически безбородый, в какой-то древней ризе с торчащими нитками. Нитки вернули к реальности поплывшую Машину голову. Неправославный облик, наклонение головы и то, как лежала риза на плечах другого старичка ужасно — вот, рукой подать, вчера только было! — напомнили что-то старое, итальянское, ускользящее. Джотто? Не вспомнить.

Служба продолжалась. Дьякон запричитал с бесконечным энтузиазмом: Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй..., что напоминало аудио-визуальные медитации металлостов. Маша смотрела на старушек и думала: ах вы, дети божьи, — и ударение было на «дети». Она чувствовала себя рядом с теми людьми в парче за алтарем или с этими, невидимыми, что неблаголепно пробежали, опаздывая, через толпу в храме после начала службы и теперь пели ангельскими голосами. Она смотрела на священника и расчленяла его слова, как знакомую работу — это я знаю, и это... а это нет, но понятно, все же, зачем. Маша умилилась,

только когда пели «херувимскую». Только музыкой... Рядом прошел, раздвигая молящихся, кто-то молодой в черной рясе. На спине у него был вышит крест; он изо всех сил опускал глаза, пробираясь вперед, и коснулся рукой Машиного плеча — вернее, подплечника ее длинного пальто. Для отрешенного иерея он слишком великолепно причесан.

Маша дождалась последнего упоминания заказанного имени в длинном скорбном списке — после младенца Ольги, перед убиенным воином Михаилом. Имя было услышано и свеча горела. Прости меня, Господи, но Ты же не живешь здесь? Она перекрестилась и вышла на воздух.

Язычница. Бог, которому мажут губы медом для отвращения бед? Не рай в награду, не чудотворство, не моральный кодекс, не магия. Нужно, думала она, чтоб кто-то подтверждал: Да, верно, — и больше ничего. Ах, ничего я не знаю. Серьезные бородатые люди в парчовых платьях встают и приветствуют правительство. Знаменитый иконописец — смотрит, как авгур и говорит: я — монах, а не художник. Икона — молитва, а не искусство. Продавшийся черту Лерверкисн говорил похоже.

Бог с ними. (Какой бог с ними?) Что-нибудь вавилонское, в завитой бороде.

Почему годы спустя вспоминаются незначимые, бессвязные минуты: Маша идет по мокрой улице и отражается в лужах; туго открываешь окно — в шум шоссе и солнце; один поворот привычной дороги в детстве, в деревне, под тополями; движение сидящего впереди в кино на дурацком фильме... Воспоминания освещены резко и подробно — может быть, в эти минуты Маша не ссорилась с Богом и он выглядывал из облаков, улыбаясь, добрый дедушка, мрачный старик или какое-нибудь мироздание.

И что это такое было, когда Маша пела свои дикие пес-

ни, выдумывала сюжеты и разговоры... Пустой дом наполняется людьми, они молчат, плачут или говорят: все становится выразимым словами, и я читаю в узоре обоев следующую строчку. Приходит очень робкое понимание ритма и приемов, рождающих еще один мир; это не так сложно, но пугает, как детей сексуальные тайны; а если я ошибаюсь — куда деть все Машины дороги, деревья, фонари? Нет, все правильно. — Все правильно, мой beanчик. Все правильно, великий Боже. Все правильно, похожий на парус и расстрелянный фокусник, что поет о дворниках и сторожах в начале сказки.

А может быть, Бог — это когда гроза. Не знаю, чему она молилась и о чем, Маша, Марфенька, жертва медведя. И какой медведь, не знаю. Их так же много, как цитат в ее голове: медведь-черт, медведь-дурак, медведь-похоть, медведь-пошлость, медведь-укрошенная плоть, или — медведь-искусство. А может быть, тот наивный неудачник, который верит хитрецу и все время ест вершки вместо корешков.

Молиться Маша не умела, и только просила: «дай», «помоги», «обереги», да иногда осторожно разговаривала с неведомым Богом. Она говорила так: «Господи, я глупая, и я не знаю: какой Ты, но думаю, Ты достаточно мудр, чтоб не принять за кошунство мои неточные слова, чтоб разобрать мои нелепые запятые, скобки и «которые». Ведь мои мысли Тебе известны лучше, чем мне самой... Если так, то, может быть, молится и просить вообще незачем? Но такого эльфического абсолюта я боюсь, как боюсь своих обморочных прозрений-провалов в другого человека, когда я вдруг гляжу его глазами, думаю его мысли и мышцами чувствую его движения — я гоню эти провалы, сочувствую пифиям и прорицателям, ведь они еще подогревают истерику дикого вдохновения...»

— Не торопись, — отвечал неведомый Бог, — не бойся.

«Но я снова о другом, Господи. Пусть Ты понимаешь и все знаешь наперед — я не могу так, я все равно буду надоедать Тебе и напоминать, просить о своем. Прости, я не умею молиться. Все, что могу, и это правильно, — сказать Тебе спасибо, глядя на небо, на листья, на лужи...»

Бог был во всем ласковом мире вокруг, от палого листка до бус на столе. Маша, как все дети, увиденные Крысоловом, любила и замечала природу. Но странна эта природа, сделанная из бумаги: все начинается со слов, они выходят на улицы и освещают каждый куст. Надо же, на самом деле утром роса, а вечером вянет куколь. Марфенька говорила с каждым деревом — «здравствуйте», проходя по шуршащим листьям, и гладила стволы, — не из умиления, а из непостижимости и боязни обидеть. Уже давно, лет сто, не стихи говорили о метели, а метель о стихах; не только книги о книгах — и дождь, и земляника, и ночные бабочки о том же. Маша с трудом отличала люпин от лютика (в люпине слышался волк), но знала, что в раю растет пальма, в царстве мертвых — тюльпаны и гранат, а мачта «Арго» сделана из дуба. Травы, цветы, камни (да, да, яшма и оникс, хрусталь, чтобы лучше видеть) — какой отличный эзотерический жаргон выходит из них. Но, смеясь надо всем этим и над своими любованиями на звезды летней ночью на балконе, она не могла не ощутить шаманское чувство растворения, сопричастности Богу, когда начиналась гроза или шумели листья. С утра шел снег, — возвещал, как священник с амвона, рокэнрольный экс-бог, и снова был прав. Марфенька вспоминала его магические формулы утром в трясущемся автобусе, ранней зимой. Автобус швыряло по скользкой дороге, Марфенька стояла у заднего окна и смотрела на метель «мира искусства» (как кто-то уже сравнивал), заме-

тающую грязную осень. Пантеизм в декорациях экологической катастрофы.

Как всякая язычница, она жила в море примет и суеверий, в паутине чисел 7 и 9, плевков через плечо и крестных знамений, сотворяемых тайно, но неукоснительно. Она была уверена, что все сбудется, обойдется и выйдет хорошо — «я не пожалею» о сделанном сумасбродстве, если она предусмотрит и назовет вслух как можно подробнее и безжалостнее возможные неудачи, что ее простят и полюбят, если свое плохое она назовет сама. Как обезоруживают демонов, произнося их имена, Маша забегала вперед и предлагала на выбор все виды ужасных и оскорбительных реакций — назови меня истеричкой, дурой, такой и сякой; здесь может быть вот этот дурной расчет, а здесь — вот этот, и так далее. — кроме одной желанной. У нее действительно не было дурного расчета, одна невзрослая наивность — так хамелеон без расчета, унижаясь и дрожа, меняет цвет; так ребенок плачет и врет, чтоб пожалели, веря самому себе до слез. Марфенька верила и жалела себя до слез, такую бедную, хорошую, принужденную врать. Ее завоевания (что это, если не завоевания) всегда удавались и переставали радовать.

Иногда Маша хотела быть христианкой, но натыкалась на стену, не умея верить в Воскресение. Машин Бог не воскресал — его не распинали. Евангелие оставалось для нее гениальной фигурой речи; не история Бога, а история, сочиненная Богом.

* * *

Все равно, как ни назови, слова обносились, они в десятый раз меняют значение. Маша морщилась от слов, но не могла без них. Я говорю, мучительно пытаюсь вспомнить источник цитаты; все сказано. Ужасно телевидение. Молодые

и не очень мальчишки и девочки говорят после демонстрации черно-белого харакири: Все ушло, ни сюжета, ни психологии, мы новые-новые, мы не хотим ваших слов, — и так полчаса. Им кажется — революция, а на самом деле они осуществляют мечту Митеньки Карамазова о сужении широкого человека. Еще один молчит, курит и поет: Дальше действовать будем мы. Маша отвернулась от харакири и сморщилась от речей. Козлы, сказала она, не замечая, что впадает в ту самую козлиную самоуверенность надменного нищего, от которой морщилась. А почему, а кому, а зачем искусство-то? — растерянно вопрошали журналисты, критики и -веды. Маша знала зачем и ответила им: «Средство возбуждения творческого органа — чтоб хотелось писать-петь-снимать потенциальному следующему; механизмы любви, а не добровольного признания»...

Так она рассуждала, пока шел снег и стыл чай, забывая о только что осмеянной страсти к манифестам. Неведомый Бог, наверное, очень смеялся, глядя на Машу и компанию в телевизоре.

V. ПРИРУЧЕНИЕ

*Если бы ты был небесный ангел,
Вместо смокинга носил бы ты орафь.*

Я не в ответе за тех, кого приручил. Я не в ответе за тех, кого не приручил. Я никого не приручал.

Об этом пел, говорил и пожимал плечами, все тот же, похожий на расстрел. Про него говорили торжественно, как в мистерии: человек, которого вы и я знали под именем... но имя подводило, не из мистерии, а из джинсовой мечты. Я и себя не приручил, — договаривала Маша. А прирученные помимо желания Бога — они стонут, кричат, вскидывают

руки и наворачивают эпитеты получше Машиных. Не этот бог, так другой, бедные мои. Но мы возьмем этого — на парус, на расстрел, на Мандельштама через верблюдика, на кого еще? Кто он для своей паствы — источник любовных волн, Орфей, покоряющий не песнями, а всем существом: Эвридику, сирен, ад, зверей, женщин, мужчин, детей, советских писателей, рискнувших подойти близко, даже деятелей русской православной церкви. Доказательством исключительной любовной притягательности (он не Амур, а сама Венера) было то, что в него влюбляются не одинокие девочки, делающие звезду, а одинокие мальчики... и шли за ним, шли под дудочку, шли шаг за шагом, запрокинув голову парусом — прочь из города, где варят чужие копыта, в воду, учиться искусству быть смиренными. Еще один Крыслов — Радио Гаммельн — его взяли в телевизор, его сказка кончилась. Жаль.

Все хотят, чтоб я встала. Чтоб оставила свой чай, свой диван, свои шутки и книжки. Спрашивают: Но как же? Но когда же? — И Марфенька еще кого-то отодвигает на вытянутую руку. Она смотрит в окно — высоко, над той же трассой с одинокими машинами. Внизу поют веселые пьяные, обнимаются пары, ходят строем, стуча сапогами, на парад, а однажды ночью — лежал задушенный мертвец и страшно выли собаки. Летом приезжает на пустырь развездной зверинец, старательно огораживается забором, но все равно весь как на ладони в Машином окне. Она глядела на бесконечные машины, наливала чай забредшему гостю, выслушивала истории и исповеди, глядя свои волосы или играя своими пальцами, но не исповедывалась сама. Гости думали, что ей нечего сказать или есть что скрывать. Она сама не знала, что о себе думать, но уж это-то знала давно: я не в ответе за тех, кого приручил.

Так и жила Марфенька, оставляя прирученных, тянущих руки. Она их не замечала, убивая следующего тигра, даже не следующего, а все того же, ибо убитое нечто переставало быть тигром.

Да, о тигре говорил рок-Крысолов, о тигре, а не о приручении, о том, что охотнику на тигра важен не зритель за деревом, а сам зверь. Но Марфенька, несмотря на пантеизм, все же была полухристианкой, все же хотела иногда быть хорошей и говорила себе о грехе. Поэтому она сказала с дьявольской улыбкой в лучших традициях родной литературы, увидев слова о тигре, явный плагиат из нее самой, в журнальном интервью: это неприлично говорить вслух русскому художнику. Мастер иллюзий же сразу стал прозрачным маленьким мальчиком с яблоком на голове — стреляйте! Всех нас за это убьют. Я умру, как маркиз де Сад, в Шарантонском сумасшедшем доме, ограничившись божественными возможностями. Он умрет в процессе добычи очередного призрачного тигра — его съедят те, кого он уже добыл.

Но дело опять не в этом. Дела вообще нет. Просто уплывает по запруженной речонке брошенный Машей стебель, а она загадала на него, доплывет до поворота или нет... Или наоборот — зима, холодно, но скоро будет тепло... Или все же лето, высокая трава, поют сверчки, кузнечики, я их боюсь, но не очень, и произношу, как ты, глухо и растягивая «с»: Гос-споди... Я хотела бы быть твоей дочерью — ты учил меня ходить и говорить — это всегда инцест... Или — видишь, среди болота черные безлистые деревья с волнистыми стволами, черные на зеленом и желтом, напоминают Африку, где никогда не бывать, ну и пусть.

Марфенька смотрела на безобразных купальщиков, на прекрасную траву и снова перебирала перечисленное сто

раз и еще не перечисленное. Высокое окно; снег за стеклом автобуса; солнце в глаза; узкая юбка сковывает шаг, заставляя идти смешной китайской походкой; старинная фреска, где она узнает своего героя, что сейчас закрыл глаза на траве, в образе наблюдающего происшествие снисходительного сеньора; святой Георгий с дохлым змеем — оставь его, отдохни, он сам содохнет...; аргонавты... Ну к чему они, все эти реестры? К тому же, к чему вечно вспоминаемое детство, чердак и ночные бабочки.

А аргонавты приплыли из Машиного сна, где тоже были непонятны, потому что не действовали и не назывались, а имелись в подтексте. Маша проснулась с этим словом. Во сне был разрушенный город, грязная лестница, пыль в солнечном луче и комната с низким потолком, где она прощалась со своим героем. Он проиграл войну и должен бежать, но это только игра по неясным правилам, и все говорят о канонаде, которой не слышно, но которая должна быть. Он уходил, прощался с Машей, и в уходе была радость, потому что тем самым он становился спокойной Машиной собственностью. Маша дала герою в дорогу серебрянную монетку вместо положенного кольца. Сопровождали его, как в каждой сказке, Чернобородый бандит и Девка. В сущности, герой был побежден, но солнечный луч, Машина монетка и правила игры придавали бегству вкус авантюрного праздника. Кончился сон словами бандита: Ну, пора. Все встали, и Марфинька проснулась с «аргонавтами» на губах.

Почему все-таки аргонавты, кто и откуда, неясно. Хотя — черная Медея, вор и не-герой Язон, какое-то руно — ну зачем так далеко тащиться по морю за смертью? — Что искать в морях, если не руно? Они от себя хотели уплыть под мачтой из дуба. Все умерли.

Марфенька не верила в сны, они не сбывались, а только

иногда эстетически оформляли жизнь — виньетка — как вот этот. Жизнь и сновидения шли параллельно, события, случившиеся во сне, переставали быть необходимыми — не повторялись. А заказать сон не получалось: тут же Маше предлагали подмену одного другим или нелепый ход с веселым убийством и хлопотами по избавлению от трупа.

* * *

Маша не хотела никого любить и не хотела сюжета, как те карамазовские мальчики. Она созерцала и завоевывала созерцая-молясь: Господи, разве кому-то еще, кроме меня, так страшно нужен этот человек? Подари мне его (ее)! И добавляла, чтобы быть честной: даже если только на недельку, пожалуйста. И добрый Бог дарил, и редко требовалось больше недельки.

К тому же виньетка заслоняла человека. Все было равно и одинаково тешило: разговор, новое платье, музыка из случайного окна, собственный голос. Маша знала наперед все слова и положения — тем шестым или седьмым неприятным чувством провала в чужое — но пока шла неделька, это не мешало, а лишь рождало нежную снисходительность, снисходительную нежность. Предмет любви — субъект любви — был не важнее предметов, окружающих его, а в конце концов — окружающих Машу. Она словно все время оглядывалась на зеркало. Как покинутая жена князя в японской сказке — ее утешают три штучки, последовательно отбираемые соперницей: цитра, еще какая-то японская балалайка и горшок хризантем. По ним она плачет больше и талантливей, чем по мужу, и князь, тронутый тонкостью чувств, возвращается. Маша очень бы оценила подобное изящество, но вряд ли могла бы вернуться, перешагнув.

Маша подозревала, глядя в такие зеркала, что она неоригинальна. Это был самый что ни на есть штамп, столетний и вышедший из моды. Ей, как несчастной Ренате «Огненного Ангела», был нужен не прирученный Рупрехт и не убегающий от приручения Генрих, а вполне умозрительный ангел Мадизль. Нужен не столько для того, чтобы целоваться, сколько для того, чтобы возглашать, забываясь: Скажи, Рупрехт, ведь он всех прекрасней? Ведь он — ангел? Ведь я увижу его опять? Я буду его ласкать?

И Рупрехт отвечал пусть с горечью, но по правилам, как церковный хор: Он ангел. Увидишь. Будешь ласкать.

* * *

Я путаюсь. Книжки рассказывают о книжках. Царь аквариумных рыбок не разделял мифологию и жизнь. «Ты — человек гуманный, гуманный...» медленно и пока очарованно говорит еще один Рупрехт. Марфенька — это мифология или жизнь?

* * *

Марфенькин герой был слишком метафорически богат, слишком ассоциативно роскошен для нашей бедной жизни. Не важно, был он таков на самом деле или пребывал голым, как король — Марфенька не разделяла мифологию и жизнь и могла одеть любого голого короля. В сущности, все короли голые, беспечно думала она. (— Что такое рок? — спрашивает любопытствующий. — Нужно ли року, чтоб его определяли? — хитро уворачивается тот же богоподобный профессионал. — Рок — это онанизм, — одобрительно, но неизящно говорила Маша.)

Герой все же был слишком эстетизирован. Его голос, его рот, его плечи... Маша додумала до этого места — не до плеча героя, а до положения о богатстве ассоциаций, — в

полудреме на диване под песни из невыключенного радио; лень было подняться, выключить. Пели любовное, к нашей теме. Она вслушалась и изумилась — песни еще страннее соединяют мифологию и неизвестную жизнь. Баритон печалился из-за ухода жены, в чем его утешала любимая собака. Маша проснулась, развеселилась: советский вариант японской сказки или скотоложный роман.

Если вернуться к Машиному герою, так традиционно преобразенному сном-виньеткой, — он не был медведем, ни тем, ни другим, ни третьим, не был Локисом, искушавшим свою панну после свадьбы, как бы это не льстило Маше — «отр-р-рава поцелуя», называл он ее игрушечный демонизм. Но на него не хватило неделки. Марфенька как-то про-скальзывала мимо его слов, занятий, поступков; она наблюдала перемещения в пространстве и осязала кожу. Не хотелось ничего определять — нужно ли это року — а если пыталась определить, выходило невнятно. Она видела скорее образ, отражение, чем человека — он слишком определен и закончен, от глухого богатого голоса и божественных плеч (брюлловские плечи, хохотала Марфенька, поцелуйные плечи) до облака сигаретного дыма, в котором является. Таких людей приятно вообразить в сниженных, если не постыдных ситуациях — это очеловечивает. Мы связаны странно, как еврей Зюсс и сероглазый рабби, продолжала смеяться Марфенька, но уже тише. Когда я не вижу тебя, я подозреваю, что тебя нет — приснилось — но тут жё из-за угла мне являют твое лицо. Или посылают призрак: я узнаю твои черты в прохожих и в телевизоре, но им не хватает одной, последней, определяющей маску.

О чем говорил герой в сигаретном дыму, Бог знает, да и не важно, — о чем могут говорить героини? — слова проходили насквозь. Маша слушала его голос: щегольски, четко

выговаривал слова, хотя немного в нос, немного сквозь зубы и иногда сквозь общий белогвардейский акцент с глухими согласными и гласными, смаживавшими на «э», слышался тон московских подворотен. (Маша так же смотрела кино: созерцала картинки и слушала организованный шум; чтобы понять речь, надо дополнительно включиться). Ей все хотелось растянуть его, сберечь подольше от Рупрехтов. Или он и был Рупрехтом — Маша не могла от него уйти ни в магию, ни в монашки.

Так и шло: не речи, а голос, сочетание звуков и дыхания; не человек, а интересная комбинация плоти; не любовь, а оглядывание во все зеркала. Любимый, возлюбленный, подаренный Богом человек в результате Машиных чувств распадался на элементы и переставал быть. Она забывала о нем рядом с ним. Поэтому не было человеческого сюжета, или Маша его не заметила.

Это тропинка без людей, звериная тропа. Конец неизбежен — провалится доска под ногой, наедет машина, изнасилуют в лифте; что ты будешь делать, душа моя Маша? Она слишком долго идет через реку по чужой соломинке, как Бодхидхарма, который, натурально, двигался с юга. Но ты не с юга; ты хочешь жить без «их» проблем: нет денежных проблем, нет политических проблем, нет сексуальных, бытовых, каких угодно проблем. Скажи, что ты будешь делать, если начнется резня — если станут жечь книги — если запюют хором, и не под твою шарманку. Если разверзнется земля и воздух станет ядом. Если кто-нибудь умрет.

* * *

— Что ты молчишь? — спросил закрывший глаза на траве герой, — расскажи что-нибудь.

И Марфенька рассказала, причисывая пальцами траву.

— У кого-то был дед, а у деда в саду — божественные цветы. И пошел дедов слуга ночью неизвестно зачем в сад, и увидел у цветов двух красоток. Нет, не красоток, а красавиц. Они были эlegantные, грустные и обсуждали клумбу. Тогда слуга понял шестым национальным чувством, что не красавицы они, а лисы. Бросил в них камень — Христос бы так не поступил — исчезли. И сразу же град камней полетел в дедов дом, все забегали и закричали, а дед вышел в сад и сказал: как могут такие изысканные дамы уподобляться нам, козлам-людюшкам? — И все стихло. Но это не конец, а конец такой: когда все стихло, хитрый дед заключил — «обывательская вульгарность чужда этим лисам».

Марфенька произнесла очень убедительно: Обывательская вульга-арность-чужда-этим ли-исам...

VI. НАРЦИСС

*Малиновую юбку подоткнув
И аккуратно засучив до локтя
У темно-синей блузки рукава,
По рожице бамбуковой брожу.
Понять стараюсь, в чем моя вина?
День на исходе. Долго ночь продлится.
В дом воротясь, сижу я неподвижно,
О локоть подбородком оперишь.
Придвинувшись поближе к фонарю,
Прикрытому светло-зеленым шелком,
Беру я в руки цитру; на которой
Из перламутра выложен узор...
Ложусь под одеяло, а на нем
Красуются две уточки, как прежде.
И ночь все не кончается, все длится.
И зябко мне, и не приходит сон.*

Можно было бы назвать: Марфенька, нижегородская француженка. Сказка в жанре цитатного романтизма. Все у

нас есть — собака Баскервилей, православный дзэн-буддист, пионерский лагерь, Одиссей заблудился в островах... Зверинец, как ни огораживался, виден отлично с Машиного балкона и, как сцена, освещены прожектором какие-то ящики, белье на веревках, теннисный стол посередине. Ночная фиалка вызывает сожаление о проходящем времени — снова моно-но аварэ; желанье быть японцем.

Бедная моя, что с ней будет? Жаль отдавать ее тем, которые варят чужое копыто. Жаль отдавать ее этим, которые тянут руки и сужают человека. Жаль посылать в Нижегородский Китай — в Дамаск — в Шарантонский сумасшедший дом. Пусть смотрит на зверинец с балкона, а не из львиного рва, моя маленькая, моя глупая.

— О-о-о-о-о, еще один упавший вниз — на Марфенькину полку, — убивался трагически погибающий канонизированный крысолов.

Я поглажу ее по голове, включу электрическую печку, налью чаю. Холодно? Не плачь и не выдумывай. Слышишь, как поет — нет, не этот, другой шарлатан — «пей, моя девочка, пей, моя милая, это плохое вино». Наш шарлатан пел иначе, но тоже верно — кража огня у слепых богов.

Или не так. Ну их, заоблачных певцов. Я тоже могу рассказывать сказки, но их слишком много. Марфенька сидит, подвернув кренделем ноги и надев старые очки: читает. У нее мокрые волосы и полотенце на плечах. От электрической печки — ребристая тень по потолку и тепло. Рядом стоит, грозя опрокинуться на мягкой кушетке, чашка с чаем. За стеной опять поют: Меня ждет на улице дождь, их ждет дома обед. Закрой за мной дверь, я уйду. Уходи. Маша-Марфенька, она остается — в этом доме, в этом мире, нарисованном пальцем на столе. В ее книжке прелестные печальные слова радуют и первый и сотый взгляд на страницу:

Дорогая Ляо! Золотая.

Я живу теперь в Санкт-Петербурге,
(городок такой гиперборейский)

Кого мы еще не вспомнили? Мальчики и девочки, боги и герои; Один Бог и один герой. Набор для песни: природа, погода, детство, любовь. Марфенька и Маша — не Мария и Марфа, это случайно, она же не христианка. Неужели не христианка? Телевизор сказал: Сосредоточимся на собственном пупе! — и сам себе ответил: — Мы только это и делаем. Надо же, какой умный телевизор. Видишь, моя любимая, я никак не выплыву из твоей тины, можно вечно ходить по кругу неученым котом: опять фонарь без аптеки, трава по пояс, ощущение сквозняка после разомкнутого объятия. В ложке отражается довольное жизнью перевернутое лицо. Едут партизаны подпольной Луны. Мое место здесь. Здесь ли? Трусливый Иона плачет в чреве кита: Объяли меня воды до души моей, бездна заключила меня, морскою травой обвита была голова моя. До основанья гор я нисшел, земля своими запорами навек заградила меня; но Ты, Господи Боже мой, изведешь душу мою из ада...

Ах, бросим-ка их всех. Зима кончилась. Смотри, какая прелесть — ночью настоящие звезды, днем везде цветет синий куколь, а позавчера с балкона я видела летающую тарелку, которая, как комар, кружила над дальним лесом, мигала красным огоньком... Ведь дальше — еще лучше: И сказал Господь Киту, и он изверг Иону на сушу.

Наталья Горбаневская

ИЗ НОВЫХ СТИХОВ

• • •

Дни несказанные,
дни одичалые,
слепнут глаза мои,
солово-чалые.

Блекнут глаза мои,
будто бы за море
в зимнем отчаяньи
цугом отчалили.

• • •

Многозеркальным письмом,
перемноженьем кружка и крючочка
— все то, что не было сном,
стало туманно, размыто, нечетко.

Будто бы ангельский сонм
учит сцепленье крючка и кружочка,
и на листе жестяном
крутится скалка, считалка, трещотка.

Ножки-ручки — закорючки,
Строчки точек — это тучки.
Вот и — посмотри —
вышел месяц из тумана,
словно в детстве, без обмана,
с ножиком внутри.

• • •

«Переулочек, переул...»

А в кругу этой петельки
жилка синяя бьется и жжет,
фитилек виршеплетенья,
кружевницын бикфордов шнурок.

И искрою на пороже
полыхнут монастырь и пустырь,
если по обе по руки
фитильку не прикажут: «Застынь».

• • •

памяти Е.С.Г.

И я жила-была,
и пела летом и зимой,
в дождь и зной,
и весной:
«Царевна, бойся феи злой
феи злой...»

Но вот прошло сто лет,
и спящий пробудился свет
и меч на плуг перековал
и на игрушку — пистолет.

И дожил кое-кто,
и прорастали семена,
имена,
племена,
и танцевала вся страна,
вся страна...

• • •

Поднадзорный потолок
окна белым заволок,
чтобы не глядеть,
с оно́го-то потолка
свешивается рука,
чтоб тобой владеть

там, где ты по потолку
ходишь за грибами
и где только мысленно
шевелишь губами.

Валерий Шубинский

СТИХИ

ВОЗВРАЩЕНИЕ

В.Д.

I

Чернозем — рассыпчатый и жгучий,
Гнилозем засасывает имя,
А из белозема строят тучи
Ангелы, рожденные слепыми.

Не в него ль я был во сне закопан,
И небесная, а не земная,
Конница прошла по мне галопом
И позвала, имени не зная?

Черви-люди с белыми боками
Взрывчатую плоть мою делили —
Щелкали большими языками,
Редкими бровями шевелили...

Я вернулся. Деревеньки прели
В пьяных маках и листве молчащей,
И все горше мертвые смотрели
Из воды, и воздух был все слаще.

И с холма кладбищенского мимо
Круглых рощ, церквей и речек, через
Воздух я увидел сердце дыма,
В собственном рожденьи разуверясь.

В сердце дыма те, с кем вместе призван,
Вместе вспыхнул, вместе обесточен —
И откуда литься укоризнам,
Если ордер на себя просрочен?
1992

II

Из мохнатых ярких окон
То раздастся ровный рокот,
То затихнет (русский Брокен
Смурой зеленью зарос,
И, забыв последний опыт,
Я иду, как пражский робот,
Средь бескровных жирных роз).

Повенчать жиды с лягушкой
В алюминиевой короне,
Перепутать печку с пушкой
Норовит полдневный гром;
Пухнет воздух в каждой кроне;
Я с ночной грозой на склоне
Нынче вновь проснусь вдвоем,

Но не здесь, а за пределом
Памяти, в тщедушно-влажном
Марева, в бездушно-белом
Воздухе, впитавшем звон
Листьев, на листе бумажном
И в горбатом, дутом, страшном,
Городе, где я рождался
1993

III

За каменный воздух высоких дворов,
За лиственный лепет стеклянный
За выжженных окон, и выжатых слов,
И пухлого мрамора раны

Я ангелу памяти продал себя
И не жил какие-то сроки,
И ожил, и вновь, ничего не любя,
Вернулся в их рокот широкий.

И вспомнил зачем-то, как пахнет река,
Как колется ветер крупчатый,
Как дымную память несут облака
И птицы пьянеют от чада.

И снова по нишам закатных дворов
Нежившие тени я вижу,
А жившие тени уходят за ров,
За невскую кислую жижу,

Чтоб в полдень в пудовые трубы трубить,
Играя обрывками света...
И вновь я все это готов позабыть,
И снова исчезнуть за это.
1993

РАСПЛАТА

Что мерцает в черно-бурой мгле?
Это жарят звук на вертеле.

Что еще расцвечивает мрак?
Беспоместных гласных воркотня.
Я никто, и звать меня никак,
Ни кровинки в жилах у меня.
Я не умер, попросту ослеп —
Это мне за то, что я жевал
Не из зерен выпеченный хлеб
И звездою сгусток глины звал.
А теперь базарные врази
У слепца отнимут костыли
И под белы ручки поведут
В дом, где никому не подают.
Там сидят хозяева пустот,
Нежные, как слизь на слизьяке,
И старшой, раззявя круглый рот,
Скажет мне на рыбьем языке:
«Ты напрасно кровью дорожил.
Здесь забавно — медью бьют о медь,
Жарят слово, брызжет жгучий жир,
Чесноком и луком пахнет смерть».

1992

ВАНЬКА-ФРАНЦИСК

Не шуми ты, Зеленая мати,
Черной мачехе ложь нашепчи,
Братец-воздух, не строй свои сети,
Чтоб меня не сыскали в ночи.

Черна мачеха, стерва сырая,
Ты живого меня не возьмешь.

Братик Солнышко, что ты не греешь,
Только водку из тучки сосешь?

Не скажу я про вашу подмогу,
Как почнет грозный царь докучать,
Расскажу только Господу Бегу,
Если будет куда добежать.

Лишь ему да железному другу,
Да мордастой сестрице-луне,
Да товарищу — спелому снегу,
Да товарке — визгливой вине.

Крепко, воздух, ты сплел свои сети:
Братец Солнце, умри на пока,
Черна Мати, впиши в свои нети
Рядовым прощелыгу-сынка.
1992

31 декабря 1992.

Стали кусками молчанья все прошедшие мимо,
Но ни разлуки, ни встречи не сделали четче зренья.
Теперь меня беспокоит не скрежет небес наждачный,
А кровяных пустот друг о друга ночное тренья.
С тех пор, как азотная одурь расквасила наши зимы,
Стал воздух цветным и вязким, но сны и сейчас пестрее,
И воспоминанья, как в детстве, полупрозрачны.
Выходит, я не был молод, и, значит, я не старею.

Сергей Вольф

СТИХИ

* * *

Шершавый бес в болотных рукавичках
Глядит на лес сквозь перышки на птичках,
Сквозь гнезда и сквозь птенчиков тела,
Сквозь гарь и блеск оконного стекла
На дряблый пень, где молодость прошла
За занавеску, —
Сжалась и исчезла,
Как утомленный раб — по мановенью жезла.

Глядит, как зверь вращая головой,
Как стонет лес, чернея, строевой,
Как съжилась улитка под листвой
И красный дым скользит из дыр болотных,
Сжигая птиц и бабочек голодных,
И как дрожит душа
От солнечного блика,
Как лезвие ножа — по наущенью крика.

* * *

Вечерело вчера. Вечереет
Мятой складкой тугой и сегодня — полбй черноты,
И барашек надсадно, к колодцу прикованный, блеет,
Хоть и нету волков в этой спайке травы и воды.

Ни мышей, ни волков, ни курносеньких уточек серых,
Лишь трава и вода и воды отраженье в воде,
Только кто-то пищит и пищит в отдаленных карьерах,
Иногда приближаясь к проведенной по травам черте.

Друг мой робкий! Неужели все стержни посохли?
Нет и нету письма, ни строки, ни кусочка строки,
Или спят по карьерам почтари, самогонные рохли,
Или путь их теперь ограничен тем скатом реки.

Здесь совсем не уныло, нет-нет-нет, я клянусь, не уныло,
Лишь все дальше и больше траву заливают вода,
Ты бы мне написала, два-три слова, корючку без пыла,
А что как кура лапой — совершенно, совсем не беда.

Я б поплыл на бревне, подгребая ладошкой, за травы,
Я б искал и нашел на обугленной ветке твой знак,
Я б согрелся у кучки золы остывающей лавы
И поплыл бы обратно с конвертом в счастливых зубах.

* * *

Машина, отлетающая прочь,
Машина, упадаящая в ночь,
Машина, залетающая в сад,
Где луг и пруд, повернутые вспять,
Где веток ивы млеющая прядь
И аист, возвратившийся назад.

Вот сад, где я ребенком, на лету,
Ловил стрекоз, родившихся в пруду,

Велосипед, опавший, на траве
И девочек, порхающих, каскад,
Бросок к одной был выбран наугад...
Ночные слезы. Огоньки в листве.

Конь со звонком «тойотой» заменен,
Вороной — детский аист отгеснен,
И лишь луна, похожая на ту,
Уродует сравненья чистоту,
И эта ночь все тот же носит знак,
И слезы мне не приструнить никак.

Чугунного забора кружева —
Все те же, и калитка та жива,
Но рыба из алкейского пруда —
Совсем не та, не та, не та, не та,
И нет качелей, ленточек морских,
И ветер, развевавший их, затих.

Где твой платочек, смоченный в слезах?
И где оркестр пьяных трубачей?
А в том углу мать с мачехой цвела,
И кто-то пел из дымного угла,
И в круглый пруд небесный тек ручей,
Но весь иссяк и умер на глазах.

Машина дремлет, лежа у пруда,
Я сквозь аллею вижу особняк,
Деревья так черны и высоки,
А были раньше не длинней руки,
Был старый дуб, но сжался и обмяк,
Осел и канул в землю навсегда.

Ночная паутина не видна,
Но прилипает к пальцам и щеке,
Из окон — шорох мягких покрывал,
И женщина проходит вдоль окна,
Чугунная калитка — на замке,
Не я закрыл — и я не открывал.

* * *

Я ночью из окна увидел снег,
Назад мгновенье — только пыль лежала,
Не пух, но пыль. В ней ползали зверьки.
Весенний рай летел из-за реки.
Постельному рассудку вопреки
Звезда себя с водой перемешала,
И над равниной шевелился смех.

Я вышел из окна на белый скат,
Я вел следов цепочку за собою,
Зверьки сверкали глазками из тьмы,
Шел мягкий звук полуночной зимы,
И падал снег, как манна из сумы,
Застыл зигзаг, прочерченный совою,
Проплыл волнообразно, словно скат.

Я выбрался к Неве. Знакомый конь
Стоял один, как пень, на пьедестале.
Река скрипела, чавкала, плыла,
Выпрыгивала изо тьмы угла,
Взошла на спуск и медленно ушла,
Измучившись, в нордические дали,
И темный дождь наполнил мне ладонь.

Но в том-то все и дело: мышь — была,
Она, зевнув, над пропастью стояла,
Мой глаз ее не видел, но она
В ночной росе была отражена,
За ней звезда рефлектором сияла,
И рвался конь, отринув удила.

Но дело было, в сущности, не в том,
Я был один, и было жутковато,
Нет, — было страшно, хоть я был один,
Лишь жадный свет глядел из-под гардин,
Я слышал приглушенный вой набата
И вой солдата в колоколе том.

Но дело было все-таки сложнее,
Мне позвонили и сказали: «Здрасьте!
«Да, родилась. Да, в Пасадене. Дочь.
«Она летит к вам. Рейсом — в эту ночь.
«К ее прилету потолок покрасьте.
«Купите торт... Подумайте о ней».

Коль моря нет, я вновь влюбился в лес,
В нем волны есть,
И гавани послушны,
И там, и там — отвратный вид небес,
И можно заблудиться, если нужно.

Да я и сам рожден в тупом лесу
Мохнатой кочкою
И калом соловьиным,
Меня несли во чреве на весу,
Чтоб выпал я ни капли не наивным.

И все-таки фигня произошла
Со спазмами, ручьями и лесами,
И только пуповина уплыла, —
Мой глаз столкнулся только с небесами.

* * *

Луна, однако, вовсе не кругла,
А Месяц вовсе — никакой не месяц,
Была Луна красна, желта, бела
И уходила в день при счете «десять».

А Месяц исчезал при счете «пять»,
Так как Луны был тоньше он в обхвате,
Но оба освещали мне кровать,
Да и меня, лежащего в кровати.

Я их сиянью открывал стекло,
И на мгновенье вздрагивали птицы...
Но прятались скукоженные лица...
Считал я до десяти
И до пяти,
И над равниной делалось светло,
И в вербу
Превращалось помело.

* * *

... И город порос тростниками, и сажей, и паром,
И голые девушки ходят по голым бульварам,
И голые крыши, никак, покрываются мхами,
И голые мыши сучат в подворотне ногами.

И что-то качается в воздухе возле Садовой,
И водка томится меж окон в поклаже литровой,
И преет осока, и друг мой трясется на дрожках,
И Богово око, и ты в голубиных сапожках.

Я в зоо иду, там сегодня трагедию кажут,
Если гриф на виду, где же ваши туники? — нам скажут.
Мы забыли их в шхерах, иль в термах, — ответим мы гордо
Под игривое пенье валторн и шажки клавикорда.

Выпьем пива!
Да-да-да, ну, конечно, как в баре, как в детстве!
Дело — в тарелке!
Как игриво! Но зато повезло нам в кокетстве.
Из горла!
Не по глотке алкающим нудные бредни стакана.
Пьем дотла!
Это шпилит нам музыку струнами Карлос Сантана.

* * *

В многоступенчатом саду,
Среди банановых початков,
В песке телесных отпечатков
Я твой, ослабленный, найду.

Ты здесь лежала в душный день,
Велосипед валялся рядом,
И твой дурак с пугливым взглядом
Изображал собою тень.

В листве карбкались жучки,
На отпечаток вниз взирая,
И взгляд их жаром подпирая,
Сочился пар из-под реки.

* * *

Каналы и реки тебя окружают, и лужи,
И храмы, и бани, и корты, и банки, и слюни,
И снег, и менты, а твой голос все выше и уже,
И тоньше, чем нитка, прозрачней, чем небо в июне.

Капканы и зэки тебя не волнуют, однако,
Монтень пострашней, и Рембо, да и Франкл пугает,
Но, может быть, все это не на беду, а во благо,
Хоть благо — невзрачно и словно бы тень — убегает.

Твой голос все тоньше, ему паутина — преграда,
Он в трубке видней и слышней, чем при схватке в постели,
Страшнее, чем вздохи, когда мы сбежали из сада,
Там было тепло, только мы-то тепла не хотели.

Качается день, и бутылка стоит в подворотне,
Граммов там восемьсот, значит, кто-то сбежал, чтоб не спиться.
Ах, как кричишь! Стало быть, веселишься сегодня.
Голос твой дребезжит, словно велосипедная спица.

* * *

Трубку мерзкую курить.
Люльку мерзкую качать.
Бабу мерзкую хулить,
А потом в нее кончать!
Пить мочу
Ходить к врачу,
По себе оставить след...
Не могу
И не хочу, —
Вот и весь кордебалет.

Гали-Дана Зингер

СТИХИ

* * *

Не быть нам воинством прозрачным в объявленной войне.
Здесь только воздух, застекленный по-зимнему, вдвойне.
Остаться в воздухе невзрачном — какая в этом цель?
Сверять на сквозняке цитаты, глотая эр и эль.
Здесь что-то дует, очень дует, и зренью вопреки
здесь только две реки воздушных одной большой реки,
здесь только воздух, только воздух среди вороньих звезд,
дорога не длинней дороги и гнезда, много гнезд.
Здесь только воздух из колодца оставлен и хулим,
но дело шьется, дело шьется
«О бродяжничестве под видом паломничества в Ерусалим».

* * *

вот так он заполняет твоё зреньё
и слепнет сам нащупывая шкаф
выискивая спинку стула и сыскав
так заполняет стул как серый куст сирени
его бы мог заполнить противопоставив
смиренью — духоту и бремя — духоте
обрюзший грузный может быть не те
слова верней всего оплывший и смущенный
и потому лицом он схож с перемещенным
лицом вот так со стула он сползает как толпы
отек расходится нищая
нет цвета нет не только для слепых

и плотность я почти не ощущаю
есть только ноздри воздуха и рты
есть только тяжесть тяжесть и усталость
усталости воздушные черты.

2-е письмо к Оне

сегодня мне хотелось говорить с тобой
о наших небезупречных прогулках
небезупречных с точки зрения хорошего вкуса
если ты помнишь им давались
имена ну например прогулки вертопрашки
а ты осудила меня однажды когда я сказала черт подери
и в воздухе носились розовые промокашки
и пахло одеколоном «мамзель де скюдери»
а здесь бугенвиллии стольких оттенков
голубенькие цветочки те что на снимке это плюмбаго
они просят рифму которую ты не простишь
так что я почитаю за благо
от нее воздержаться
конец абзаца.
и новый абзац
пока пассифлоры придают прециозности каждой
жерди и стенке
превращая их в жардиньерки
в эрзац-
жардиньерки
их пасут не пенсионерки в митенках
просто платят арабу исправно
куда же проще
а после вкушают свой послеполуденный отдых фавна

в померанцевой роще
площадь в метр квадратный
а если уж им нейдет наводят глянец
каждый на свой померанец
и отдыхают обратно
пока пионерка ранец
несет чтоб исправить осанку
пока октябренок скребет по асфальту на санках
пока пассифлоры жмутся жеманятся и седеют
пряча серые букли среди камней иудей
кружевце оправля одергивая и ниже
на лоб надвигают шляпку с бумажною пассифлорой
кофе варят пожиже
марлевый зонтик отважно
вознося над фольклором
иже
еще из гимназий
или из Appenschule
поелику понеже
употребляя пореже
много ли есть okazji
упомануть пачули
фанты строчки мережек
и буль-де-нежи
в вазе
да еще во саду ли
ради рифмы несвежей
кои всегда все те же
те же еще из гимназий
или из Appenschule
где учились твои родители, отец Некода, мой брат,
Тамара Сильман,

вроде бы Адмони, барон Тизенгаузен, Менакер,
Каценеленбоген и Донде.

¿а donde? куда?
¿de donde? откуда?
какой дорогой? ¿por donde?
Донде Регина
зануда и недотрога
хроническая ангина
Регина Самойловна Донде
в траченной молью ротонде
совершает прогулку
и снова у ней простуда
у Тучкова моста в темном переулке
Кацеленбоген Донде целует за три булки
¿donde estamos? вот это да! ¿а donde? куда?
покуда же пассифлоры придают прециозности каждой
ограде

и дело не столько в названьи ты знаешь сама
сколько в пансионерках и вышивках ришелье
я клянусь что и думать забыла о ленинграде
помню только дома
и думаю об илье
все-таки имена которые я узнаю постепенно
почему-то манерными кажутся мне
и пока пассифлоры в свинцовых белилах крадутся
по стенам

я не
решаюсь найти им место в стихах
и стихов не пишу
пока пассифлоры ползут по каждой стене
мне их шушуканье
несомненно знакомо

это не звуки даже а быстрая смена нотных знаков
поползновенья они подобны
стиранью со щек размазанной туши
возможно я излишне подробно
но послушай
ты знаешь то что жасмином зовут здесь
не жасмин а что-то совсем иное
днесь
рылась я справочнике и головную болью отделалась
но не нашла
то что жасмином мы там называли
только ли запах? едва ли.

4-е письмо к Оне

Военные годы зимы наступают
Пушкин II

Не зови это время войной и зимой тоже
не зови это время. Будь архи-
прошу дорогая будь осторожна
при выборе определений в патриархальнейшей из анархий
определение хуже птички галочки то есть
оно выпархивает порхает ан — поперхнулось закашлялось
сдуло пархатое
перхоть с плеча поеживается и глядь-ко спало с лица
тут не поминай про совесть иди ищи подлеца призови к ответу
проборматывая бормоча нечто насчет праха и тлена
поди впиши сию падаль в повесть временного лета.
вид из окна затянутого пыльным полиэтиленом
напоминает мне лунный опал который я долго быковыривала

из бабушкиного кольца
эталоном является дом где есть вещи способные
позабавить дитяню
в доме у бабушки было их три: будильник ее до сих пор
скрежещет и поправляет
вставную челюсть при счете на шесть восьмых догоняя
дневного сна
заспавшиеся минуты: рапана наверно пропала при переезде
тятя
достал рапану со дна должно быть тихого океана
потому что в доме бабушки все было тихим и только
будильник скрежещет
а так все вещи очень тихие вещи
и молоко с постным сахаром в форме слона
давалось на полдник после дневного сна;
а еще был пряничный домик
его постепенно не стало
сперва отбилась труба и мне сказали что я совсем
отбилась от рук
потом облупился наличник но меня не лупили
а в пряничном доме хранились две шляпных булавки
куча пуговиц и кольцо
где лунный опал.
А потом он упал но не разбился разбилось только крыльцо
куда выходила бабушка Ами и Тами встречать автоматы
цветами.
Не зови это время войной и зимой тоже
не говори: боже —
оно не поможет
но все же будь осмотрительна осмотри эту местность
из окна
с опавшим в испарине полиэтиленом отписанную

пропавшим коленам
колену Менаше помнится и кому-то еще не вернувшемуся
из плена

возможно нелестным и нелицеприятным
показалось тебе отраженье луны в моабитской пустыне
и ближе

отраженные лунные пятна
однако довольно опрятно
как посмертное прокрустово ложе
когда простыни похрустывают и стынут
жижа
образующаяся меж стеклом и полиэтиленом
при смешении пыли дождя и дыханий
то что мы позабыли
возводит среди стала -ктитов и -гмитов и прочих
немых изваяний

коммунальные слезы пьяных елены
и ольги и вопль тебя никто ненавидит
в обиде как тополь в погромном пухе и перьях
огромны расстояния неподчиненные глазу
между войной и зимой зимой и противогазом
абсолютно ничейный разум не объемлет ничейные земли
между стеклом и полиэтиленовой пленкой не говоря уж
о секторе газа
и поэтому разом вспоминаются газовая колонка
и развешанные нестиранные
пеленки как флаги подавленного национального
самосознания
не зови это время.

Михаил Угаров

ГАЗЕТА «РУССКИЙ ИНВАЛИДЪ»
ЗА 18 ИЮЛЯ...

ПЬЕСА

Действующие лица:

ИВАН ПАВЛОВИЧ

НЮТА, его старая няня

АЛЕША, его племянник

САШЕНЬКА, его племянница

З а н а в е с .

Театр представляет собой не богатую и не бедную гостиную московского дома.

В глубине гостиной — фонарь из пяти окон, с мелкими оконными переплетами. В фонаре — сад, где есть финиковая пальма с пожелтевшими концами перьев, она произошла когда-то из косточки, брошенной в землю неизвестно кем. Виноградец оплел поверху оконные рамы, а теперь свободно падает вниз. В мелких площадках круглый год цветут темные фиалки.

Высокие напольные часы с ленивым медным маятником, с тяжелыми гирями. Они орехового корпуса, с башенным боем недельного завода. В башенке часов обустроена целая сцена, где райское дерево из жести с райским яблоком на нем. У дерева Адам и Ева. Жестяная Ева сначала срывает яблоко с дерева, а потом подает его Адаму. Жестяной Адам же печален и задумчив. А из-за дерева, покачивая головою, выглядывает змей. Жесть местами тронута ржавчиной.

Д и в а н черной кожи, у него на спинке шкафчики с гранеными стеклышками в створках, они запирались каждый на свой ключ, а теперь все ключи утеряны. Хорошо лечь разгоряченной щекой на его холодную кожу.

Черной кожи к р е с л о, глубокое и холодное, со скамеечкой под ноги. Сиденье его когда-то было распорото, порез прилежся буквой У. Теперь он зашит черными шелковыми стежками. Если сесть в него, то сзади и не видно будет, что кто-то в кресле сидит. Темно-вишневый плед с кистями и пять крошечных подушечек для удобства, если случится вдруг сидеть долго.

Большая л ю с т р а затянута белой марлей, теперь запыленной и пожелтевшей. Иногда она сама, ни с того, ни с сего, начинает вдруг покачиваться...

Бухарский к о в е р с драконами. На нем есть бурое пятно, несмываемое и несчищаемое ничем. Его посыпали солью много лет подряд, и сами ворсинки на этом месте обросли легкими кристалликами соли. Поперек ковра — вытертая и облысевшая тропинка.

Черный б у ф е т с отделениями для серебра, для вин, для сладостей. В детстве было интересно, спрятавшись в нижней колоде, подслушивать потайные разговоры отца с Нютой, а потом отца с матерью, а после матери с Нютой. И все кончалось слезами... А в отделении для салфеток был тайник, но про него все знали. И в отделении для вилок — тайник, но про него знали лишь некоторые, не все. Среди фарфоров есть и пастух с пастушкой, Тальони с крылышками мотылька, и фавн с отломанной ногою. Пасхальные яйца из серебра и слоновой кости: серебряное заводится и позванивает, а костяное — заводится и кружится. Китайские, в мелких трещинках вазы, расписанные травами, где хранятся разные глупости.

Сине-черная обнаженная д е в а - с в е т и л ь н и к занимает особое место в гостиной. Она так изогнула одно бедро, что можно положить на него коробочку со спичками, и коробочка не свалится. У нее большой черный живот, и кажется, что она вот-вот родит сине-черного холодного младенчика. У

нее видна черная пуговица соска. Черные ноги ее скрещены, меж них не заглянешь, и пальчик туда не вложишь. Зато весело, когда взрослых нет рядом, шлепнуть ее по широким черным ягодицам. А пальчики на ее черных ногах толстые и короткие, и мизинчик — с виноградную длинную ягоду.

На этажерке — заводной с и м ф о н и о н, в нем сорок тонов; с жестяным диском, где слепыми дырочками наколоты итальянская музыка.

А п и с ь м е н н о г о с т о л а не видно, он за ширмами. Лишь когда зажигают на нем свечи, — смутно высвечиваются его очертания. Глобус с вмятиной на Африке и на Аляске, с выпуклостью на Туркестане. На столе чернильный прибор в виде тургеневской охотничьей собаки: изгибами своего тела она облегла две узкогорлые черниленки, а лапу положила на перочистку. Зеленое сукно залито по левую руку чернилами, пятно вышло видом с зайца с двумя ушами. Узкая дамская рука прижимает пружинкой письма и старые рецепты. На ноже для разрезания бумаги надпись на восточном языке, ее можно толковать по-разному, как захочется. Ящичек с уральскими камушками оклеен серой мраморной бумагой. Хрустальная пепельница и фарфоровая тройка с санями, где ровными полешками уложены спички с толстыми серыми головками. Малахитовая коробочка с перстнем отца, с медальоном матери, где лежит прядь волос неизвестного; орешек в золотой бумаге; израильная карта — пиковая десятка, означающая черную вещь, болезнь, а при короле или даме — брачную постель... Сверкают песочные часы — получасовые; песок течет так медленно, что можно отлететь от хода событий на расстояние Луны...

Широкие и тяжелые д в е р и, с медными ручками и защелками. Открываются они с шумом, с протяжным скрипом. В детстве хорошо было кататься на этих тяжелых дверях.

Полукофеинсом выступает из стены ребристого кафеля п е ч ь. Квадратики кафеля все в мелких жилочках-трещинках. На темной дверце печи отлит изогнутый цветок лилии; вьюшки ее как пуговички на мундире, начищены. На гладком кафеле можно написать чернилами плохое слово. Если шепотом

прочитать его, — по животу пройдет холодок. За корявыми буквами можно вслед, чуть с запозданием, представить тот предмет, который это словцо означает. Если предмет мужской, то можно просто усмехнуться, а если женский, то скорее послонить палец и стереть написанное, как будто его здесь и не было никогда.

Легкие ш и р м ы расписаны узкими подводными травами. А рыбы большие похожи на птиц...

За окнами светло. ИВАН ПАВЛОВИЧ стоит, повернувшись к нам спиной, смотрит в окно.

ИВАН ПАВЛОВИЧ. ...Убежали, гамак бросили, книжку в нем забыли. Один, пустой веревочный гамак. Майн Рид, или что там еще...

Молчит.

В купальню теперь пойти невозможно. Там поселились пиявки. Теперь нужно с размаху бухаться в воду, а потом искать — где еще выйти... (*Через паузу*). Если вода попала в ухо, нужно потрясти в нем мизинчиком, и попрыгать на одной ноге... (*Через паузу*). Не надо щуриться на солнце, а то вокруг глаз будут белые морщинки! И челочку со лба лучше прибрать кверху, а то лоб будет белый...

Молчит. Трет лоб.

На спинке скамейки лупой выжжено — «дурак»... (*Смеется*). И выжжено-то без твердого знака, без ера на конце слова. А потому, что — лень! А потому, что твердый знак на конце слова всегда казался лишним. Потому, что даже тут ни одного дела до конца довести не можешь, потому, что все — наскоро!.. Лучик нужно собрать

в страшно маленькую точку и ею, как иголкой, нажечь. Сначала пойдет дымок, из-под дымка проявится коричневая точка. Точку вывести на линию и ровно нажечь букву. Если твердое окончание, то, конечно же, должен стоять ер в конце слова! Но что же сделаешь, если вдруг тебе становится скучно, если ни одного дела ты как следует довести до конца не можешь...

Молчит.

Не надо щуриться на солнце, смотри ровно, пусть тебе в глаза слепит, а ты не щурься, ты же не шурин! Шурин — щурится!.. Зять любит взять, теще любит честь, а шурин — глаза прищурил...

Молчит.

Нужно развести в теплой воде мыльного порошку и побриться. Нужно пойти в город. Нужно взять шляпу с полями и трость, и пойти. Нужно зайти в кондитерскую, например. Потом погулять у реки. Еще нужно зайти в аптеку. Там в витрине поставлены большие стеклянные шары, налитые водою, подкрашенные в красный, зеленый и синий цвет. Там продают ландринковые леденцы от горла...

Молчит.

А если будет гроза, то есть специальный от дождя зонтик. Нужно пойти и побриться, если идти в аптеку и погулять, в кондитерскую...

Вздыхает.

Убил Бог лето мухами!..

Молчит.

В саду есть шалашик, там можно лечь на живот и читать

«Капитанскую дочку». В шалашике можно сговариваться на обмен — кузнечика в коробочке на божьих коровок. В то лето кузнечик шел за двух коровок, а не за трех... Еще нужно быть внимательным, чтоб гусеница не свалилась на тебя с шалашиковой крыши... Можно играть в первых переселенцев... А можно — в «Кавказского пленника». Нужно схватиться пальцами в замок, как если б руки были связаны, а на ноги надеть колодки — привязать садовую лейку. И сидеть, закрыв глаза. И хотеть пить! А тебе никто пить не дает!.. А потом дожждаться момента. И бежать смешным прыскоком, чтобы не запнуться о лейку. Бежать и кричать — «Братцы, братцы! Спасите!..» И упасть на газончик, где уже — наши, где горцы позади! А наши, смеясь, снимают с тебя колодки и швыряют садовую лейку в кусты...

Молчит.

«Братцы, братцы, я — свой, я — наш...»

Слышен колокольчик в дверях. ИВАН ПАВЛОВИЧ как будто и не слышит его. Входит АЛЕША, племянник Ивана Павловича. На нем фуражка, а под ней — фетровые черные наушнички, они резинкой стянуты поверху и понизу. Шинель он сбросил в прихожей.

АЛЕША. Иль фэ фрау, иль жель, иль нэж деор!...*

ИВАН ПАВЛОВИЧ молчит, не оборачивается.

Ужас как холодно!

ИВАН ПАВЛОВИЧ (после паузы). Я слышу.

АЛЕША садится в кресло. Трет покрасневшие руки.

АЛЕША. Даже в груди покалывает. Нельзя вздохнуть глубоко от морозу.

* — Холодно, снег, мороз! — фр.

Зажмурил глаза.

Ай-яй-яй!..

И еще раз, протяжно.

Ай-яй-яй!..

ИВАН ПАВЛОВИЧ (*оборачивается к нему*). Ну что ты? Что ты шумный такой?

АЛЕША пытается стянуть с ноги сапог. Но сапог надет очень туго. И тогда ИВАН ПАВЛОВИЧ принялся ему помогать. Возьмась они долго. Стянули один сапог.

(Отдышавшись). Зачем же носить такие узкие сапоги? Ведь все равно, что босиком ходить, — такие тонкие, такие узкие.

АЛЕША (*жалобно*). Ай-яй-яй!..

ИВАН ПАВЛОВИЧ (*принялся за второй сапог*). Декабрь! Холодно. Зачем же форсить?

Стянули сапог.

АЛЕША (*с отчаянием*). Отморозил? Отморозил?

ИВАН ПАВЛОВИЧ. Нет. Сунь их под себя, чтоб согрелись.

АЛЕША усаживается с ногами в кресло, как велел ему Иван Павлович.

АЛЕША (*страдая*). Не дашь ли ты мне теперь чаю?

ИВАН ПАВЛОВИЧ идет к дверям.

Чаю погорячее, погорячее чаю!

ИВАН ПАВЛОВИЧ (*выходя*). Фуражку снял бы.

И ушел. АЛЕША послушно снял фуражку. Немножко попрыгал в кресле, на подложенных ногах. Попрыгал и затих, засмотрелся на узкие травы на ширме, на сиреневых птиц. Нижняя резинка от наушничков режет ему горло, и он иногда оттягивает ее книзу. Входит ИВАН ПАВЛОВИЧ.

АЛЕША. Сказал — чаю?

ИВАН ПАВЛОВИЧ. Сказал.

АЛЕША. Да может, у вас лимон есть?

ИВАН ПАВЛОВИЧ. Есть лимон.

АЛЕША. Так с лимоном. Сахару послаше надо.

ИВАН ПАВЛОВИЧ. Хорошо.

АЛЕША. Сильно его не размешивать, чтоб сверху горячо и несладко сначала было. А потом книзу, чтоб — слаще и слаще.

ИВАН ПАВЛОВИЧ. Я знаю твои порядки.

АЛЕША. Ну вот. Что еще?.. Подстаканник с пленным турком?

ИВАН ПАВЛОВИЧ. С пленным турком. С крепостью Варной.

АЛЕША. Ложечка. Знаешь, где край косо слизан?

ИВАН ПАВЛОВИЧ. Знаю.

Дядя смеется. А АЛЕША внимательно за ним следит.

АЛЕША. Ноги щиплет. Колет иголочками. Отморозил.

ИВАН ПАВЛОВИЧ. Поколет — перестанет.

Садится на диван. После паузы.

(Покачивается). Ну, что там на улице делается? Расскажи.

АЛЕША *(коротко)*. Мороз.

ИВАН ПАВЛОВИЧ. Нет, вообще. Что там делается?

АЛЕША. Где?

ИВАН ПАВЛОВИЧ. Ну, в городе. В домах. В жизни вообще.

АЛЕША. Ну что-то делается, наверное. Я не знаю. Обязательно делается. Как же без этого? Что же — все вокруг остановилось, так что ли?

ИВАН ПАВЛОВИЧ *(терпеливо)*. Ну, а что хорошего?

АЛЕША. Ничего хорошего.

ИВАН ПАВЛОВИЧ. Все плохо, что ли?

АЛЕША. Зачем? Что ж плохого? Я не говорю, что все плохо.

ИВАН ПАВЛОВИЧ. А говоришь — ничего хорошего.

АЛЕША. А что хорошего?

ИВАН ПАВЛОВИЧ (*раздражаясь*). Я вот у тебя и спрашиваю: что? как? что хорошего?

АЛЕША. Ничего.

Молчат.

ИВАН ПАВЛОВИЧ (*спокойным голосом*). Ну, а что плохого?

АЛЕША. Да ничего плохого.

ИВАН ПАВЛОВИЧ. Все хорошо, значит?

АЛЕША. Ну, я этого не говорю, что, мол, все хорошо...

ИВАН ПАВЛОВИЧ. Ну а как же тогда?

АЛЕША. Да по-разному.

Большая пауза. АЛЕША страшно борется с озорством, с сильным желанием потянуть еще комедию, но не хочет перебора. А дядя борется с раздражением. Он по-настоящему серьезен.

ИВАН ПАВЛОВИЧ (*помолчав*). Да сними же наушники, говорить с тобой невозможно!..

АЛЕША снимает наушники. И стреляет резинкой.

АЛЕША. Никак согреться не могу...

Тогда дядя взял плед. Другой рукой захватил за гнутую спинку стул, понес к Алеше, к креслу. Сел на стул и развернул плед. АЛЕША протянул ему ноги, и дядя, укрыв, замотал их в плед, положил себе на колени. И руками прижил для тепла.

ИВАН ПАВЛОВИЧ. Твой отец любил носить страшно уз-

кие сапоги, страшно узкие и страшно тонкие. Страшно смотреть: идет по морозу, а сапоги такие тонкие, что каждый пальчик видать! А вовнутрь он насыпал тальк, или канифоль, — что-то такое, я не знаю. У него даже была специальная дощечка с вырезом для каблука, он без этой дощечки снять сапогов не мог. И специальные крючочки были, чтобы тянуть за уши. Мучение! Сапоги, говорит, хорошо шить на каждый день! Чтоб зашивать с утра, а к вечеру их распаривать! Да очень уж, мол, дорого... А нога у него была страшно маленькая. Как он стоял на ногах при таком росте? При такой маленькой ноге? Он страшно этим гордился, говорит, — вот она, порода!.. А я любил ходить босиком по траве. А он — ни за что...

Пауза. Вошла НЮТА, старая няня Ивана Павловича. Она принесла чаю.

Спасибо, Нюта!

АЛЕША (*шитит*). Ведьма!..

ИВАН ПАВЛОВИЧ. Спасибо, родная!..

Дядя, конечно же, слышал «ведьму», но промолчал. НЮТА выжила.

АЛЕША. Что же ты не замечаешь, как она воняет? Вели ей мыться каждый день, платя чтоб стирала! Прачке все ее платя отдать, нельзя же так!..

ИВАН ПАВЛОВИЧ. Ну что ты выдумываешь, что ты все выдумываешь?! Сейчас же перестань!..

АЛЕША. Очень старухи пахнут...

ИВАН ПАВЛОВИЧ. Ну что же, старый человек...

АЛЕША. Вот и мылась бы, если старый! Это смолоду можно не мыться, а в старости, — уж будьте любезны!..

Молчат.

АЛЕША хочет пить чай, но горячо ему.

ИВАН ПАВЛОВИЧ. Что твои дела?

АЛЕША. Да по-разному.

Дует на чай.

ИВАН ПАВЛОВИЧ. Что Лизочка?

АЛЕША. Лизочка как Лизочка.

Дядя удивился

ИВАН ПАВЛОВИЧ. Ты разлюбил ее?

АЛЕША (*его передернуло*). Ну что это еще за слова?!.. Мне деньги нужны! А тут денег нет. Вот тебе — и Лизочка!

ИВАН ПАВЛОВИЧ. Где ж деньги есть?

АЛЕША глотнул чаю. Горячо, но пить можно.

АЛЕША. Есть.

ИВАН ПАВЛОВИЧ. Так что же?

АЛЕША. Да тут, дядя, запятая!

ИВАН ПАВЛОВИЧ. Что такое?

АЛЕША. А то, что невеста стара. Сорок шесть лет.

Пьет чай.

Зато денег много. Так считай, что за все заплачено.

ИВАН ПАВЛОВИЧ. Постой же ты! Да ведь она тебя вдвое старше!

АЛЕША допивает чай. Посмеивается.

АЛЕША. Деньги!.. (*вздыхнув*). Вот если б еще чаю?

ИВАН ПАВЛОВИЧ (*поспешно*). Сейчас, сейчас. (*Кричит*).

Нюта!

Молчат. Ждут Нюту. Пришла.

Налей еще чаю, милая.

НЮТА взяла стакан и ушла. Молчат.

ИВАН ПАВЛОВИЧ (*осторожно*). Но, ты, надеюсь, понимаешь, что женившись, тебе придется исполнять супружеские обязанности, и ...

АЛЕША смеется. А потом сильно толкает дядю в живот. Тот, не ожидая этого, падает вместе со стулом навзничь. АЛЕША в испуге вкакивает.

(*Лежа на полу*). Ах, черт!..

АЛЕША. Прости. Я не хотел.

Дядя поднимается. Аккуратно ставит стул. Неловкая пауза.

ИВАН ПАВЛОВИЧ. Ничего-ничего, я не ушибся. Как-то ловко упал, совсем не ушибся.

Молчат.

Прости, я сейчас.

Выбегает из гостиной.

АЛЕША (*берясь за голову*). Врите, врите, бесенята! Будет вам уже мертвец!...

Вошла НЮТА со стаканом чая. Подала это Алеше и хотела было идти.

(*С отвращением*). Тебе сколько лет?

НЮТА. Чего?

АЛЕША. Который тебе год, говорю?

НЮТА. Не считала.

АЛЕША. Вот дура!

НЮТА. Чего?

АЛЕША. Ничего. Помрешь скоро!

НЮТА. А тебе что?

АЛЕША. Тебя в землю закопают. А мы будем черешенки кушать, да смеяться.

НЮТА плачет.

Фу, фу! Поди отсюда. Дядя рассердится.

НЮТА уходит.

(Сам с собою). Будем черешенки кушать, вишенки...

Входит ИВАН ПАВЛОВИЧ.

ИВАН ПАВЛОВИЧ. Алеша! Ты помнишь, как на Рождество мы представляли живые картины? «Княжну Тараканову»?.. Сашенька на постели. А мышь была сделана из черного хлеба? Тогда ты кинулся на постель, съел хлебную мышь и спас княжну!..

АЛЕША. Помню.

ИВАН ПАВЛОВИЧ. Ведь весело же было?! *(Тоскуя).* Боже мой, как было весело!..

АЛЕША. Давай, дядя, напьемся! Есть ли у тебя в доме водка?

ИВАН ПАВЛОВИЧ *(грустно).* Нету.

АЛЕША. Давай пошлем! Или вот что! *(Горячо).* Давай, пойдём с тобою, я знаю одно такое место, и там мы с тобою напьемся по-свински!

Дядя молчит.

А потом, давай, поедем к блядам!

Дядя садится на диван. Спина его так напряжена, как будто он на приеме, и ждет вызова.

Я знаю, где хорошие бляды есть!

Дядя молчит. АЛЕША вскакивает с кресла, ходит по ковру босиком.

Ты, дядя, знаешь, что такое французская любовь?

Дядя делает странный жест рукой, будто он на перфоне и прощается.

Нет, мне сначала тоже это очень стыдным показалось!..

Дядя закрыл глаза. Как будто его здесь нету. АЛЕША помолчал. Потом присел перед дядей на корточки.

(Иначе). Ну пойдем просто на улицу, погуляем?.. Ты мне выберешь самое красивое дерево, сейчас иней, — это страшно, страшно красиво! Выберешь и подаришь. А я тебе тоже что-нибудь такое отыщу и подарю! Самую тощую лошадь! Самую старую собаку!..

Дядя не отвечает.

Ты уже два года не выходишь на улицу. Это уже болезнь, ты понимаешь?.. А ведь ты здоровый молодой мужчина! Два года — ни шагу из дому, — это уже болезнь!..

Дядя встает и идет к двери.

ИВАН ПАВЛОВИЧ *(каким-то странным голосом, почти фальцетом)*. Я принесу тебе чаю.

АЛЕША. Это болезнь и ты можешь умереть от этого! Тебя в землю закопают!..

ИВАН ПАВЛОВИЧ *(в дверях)*. С лимоном. Сахар не нужно размешивать.

АЛЕША. Постой! Нюта принесла мне чаю! Вот он! Постой!

ИВАН ПАВЛОВИЧ быстро выходит.

В землю закопают.

АЛЕША пошел за ширму. Роется там на столе.

Конечно! Конечно же!..

Вышел из-за ширм и машет по воздуху письмом.

(Читает). «...Не надо отвечать на это письмо! Не надо, не надо, хороший мой! Странно было бы вести перепис-

ку в моем теперешнем положении. Я очень благодарна тебе за все, что ты сделал для меня. Мы часто с Котиком гуляем по твоей улице, и я все смотрю на твои окна. Смотри, говорю я Котику, — вон там живет очень хороший дядя ... Она смотрит во все свои глазенки и ничего, конечно, еще не понимает. Она обязана своим рождением только тебе! И если бы не ты, ее не было бы на свете никогда! Муж мой об этом знает, и тоже так считает, как я. С рождением Котика моя жизнь наполнилась смыслом, и я счастлива!.. Иногда мне кажется, что глазки у Котика — твои, хотя я знаю, что это не твой ребенок. Но я слишком долго смотрела в твои глаза...»

Обрывает чтение.

Сволочь!.. (*Смеется*). Что они с нами делают! Что делают?!

Вошел ИВАН ПАВЛОВИЧ, но АЛЕША и не заметил его. Дядя увидел письмо в алешиных руках. Замер.

(*Читает*). «...Наступит день, и мы все соберемся вечером под нашим зеленым абажуром, и будем пить чай с засахаренными орешками (помнишь, как любила их!) и все мы скажем тебе, как мы тебе благодарны, и муж мой скажет, и я, и Котик тоже скажет! Она уже говорит слово «дуля»...»

АЛЕША увидел внезапно дядю. Растерялся.

ИВАН ПАВЛОВИЧ (*он смутился*). Алеша... Нельзя же читать чужие письма. Это очень непорядочно, Алеша...

АЛЕША. Прости. Подвернулось как-то...

ИВАН ПАВЛОВИЧ. Помнишь, когда ты подглядывал в купальне... Я тебя тогда очень сильно ударил... Кажется, из губы шла кровь... Уйди, пожалуйста, Алеша. Я очень

прошу.

АЛЕША очень напугался. Он схватил один сапог, попытался его быстро надеть. Не получилось. Натянул до половины.

АЛЕША. Я сейчас. Я там надену. Ничего, ничего. Я — там.

И выбежал. Одна нога босая. ИВАН ПАВЛОВИЧ поднял брошенное Алешей письмо. И опустил его в китайскую вазу с мелкими трещинками, которая стояла на буфете. Помолчал. Потом сунул руку в вазу и достал оттуда целый ворох писем. Рассмеялся. И бросил всех их туда снова.

ИВАН ПАВЛОВИЧ (*гулко, в вазу*). Хорошая, хорошая... хорошая моя! У вас очень хорошее, доброе сердце — и вы не можете делать гадкие вещи! Например, — мучить хорошего, в общем-то, человека... Он просит вас только об одном... Не надо, не надо... не надо ко мне никаких писать писем!

И поставил вазу на место. Пауза. С большим интересом осмотрелся он вокруг.

Я все забыл. Я не помню ничего. Вот за окном шел сильный дождь... А окно было поднято вверх, и лень было его опустить. У них, знаете, окна почему-то не растворяются так по-простому наружу створками, а поднимаются вверх. И все думаешь, что вот — хлопнется рама сейчас вниз, и полетят брызги стекол. Это я очень хорошо почему-то помню. Рама, которая в любой момент может хлопнуться вниз... Как я уронил кувшин с водою?.. Помню! Я смеялся тогда до слез. И тонкие листы почтовой бумаги помню, где было вытиснено готическими буквами: «отель Хофман»... И все! Не поверите, смешно, но — правда-правда! — я все забыл. Честное слово!

Задумался..

А ведь отель Хофман можно произнести как Гофман, если хочешь. Это у них все равно: что им Хофман, что Гофман...

В то время, когда ИВАН ПАВЛОВИЧ говорил о хофманах и гофманах, появился АЛЕША. До этого он лишь заглядывал в дверь, а тут и сам вошел. Робко встал у порога.

АЛЕША. Дядечка... Можно я возьму сапог? Мне ведь холодно...

Дядя посмотрел на него, не узнавая, и засмеялся. И АЛЕША засмеялся.

Дядечка, я не могу больше мерзнуть в прихожей. Прости меня.

ИВАН ПАВЛОВИЧ. Конечно, конечно! Орешки в сахаре — это очень веселое занятие. Кидать их в рот! Иной раз и не попадешь, а это очень смешно.

АЛЕША. Ты уж не сердись на меня? Я так больше не буду.

ИВАН ПАВЛОВИЧ. А тут, знаешь, входит человек. Посмотрел он на меня так мутно-мутно... И — бах перед ней на колена! И что-то такое ужасное стал говорить, я даже ни слова не понял. А мне вдруг сделалось скучно, потому что она смотрит на меня так, как будто видит в первый раз. То есть, очень-очень внимательно. Небольшого росточка, блондин, с такими руками, будто он их где-то застудил... Я взял еще горсть орешков, пожал плечами и пошел гулять вдоль реки.

АЛЕША. Знаешь, дядя... Это меня черт толкнул, я не виноват...

ИВАН ПАВЛОВИЧ. Очень грязная маленькая речка, с названием, которое я совершенно забыл! Надо будет на карте посмотреть. Они там все свои глупые речки на

карту заносят. Потом я пошел еще за горсточкой орешков, а их уж не было в комнате никого... Потом мне все говорили, что этот человек, он вовсе, мол, не блондин, а брюнет, и выше меня чуть ли на целую голову!.. Я говорю — помилуйте! — значит у нее двое мужей! Ведь тот, что входил, был блондином! А двоемужество — это уже смешно, это несерьезно, господа, для такого о ней разговора. А если он в Германию въехал блондином, а в России живет как брюнет... Он тогда и вовсе не заслуживает никакого к нему отношения!..

АЛЕША. И они уехали. А ты остался там один.

ИВАН ПАВЛОВИЧ. Знаешь, Алешка, я это вдруг забыл. Да, наверное так, — они уехали, а я остался там один... Я долго еще прибирал в комнате. Ведь я, как ты знаешь, очень аккуратный, а она везде, всегда все разваливала ужас как. (*Смеется*). Если я эту историю не выдумал сейчас же... Я люблю так — поваляться на диван и выдумать историю. (*Внезапно*). Смотри, смотри!

Тащит Алешу к окну.

АЛЕША. Кто там? Ничего не вижу. Кто это?

ИВАН ПАВЛОВИЧ. «Лучшая крыша Руберойд инженера А.Вэ.Эльбен в Санкт-Петербурге!»! Где ошибка? Ага, не видишь! А я давно для себя пометил: «инженер» редко пишут с буквой «и», все больше с «е». Прости, я на минутку!

И выскочил за дверь. Не дал сказать Алеше больше ни слова.

АЛЕША (*тупо глядя в окно*). Ин - жы - нер... Ин - же - нер... Какая разница?..

Садится в кресло и натягивает сапог. Топнул каблуком.

Мерзавки! Страшные мерзавки, вот что я вам скажу...
Все, как одна. Да-с!..

Помолчал.

Наш брат старается не вникать в частности, мы ведь очень мало чего понимаем, совсем немножко... Мужчина все как-то бочком старается жить, сторонкой, чтоб не очень им мешать. А они, наоборот! Они уютненько так живут, с удобствами... Отчего это у дам комнаты всегда уютнее мужских?.. И как чай пить они знают — где какой салфеткой выстелить... Вот интересная мысль, — почему это так получается, что они у себя дома, а мы — как бы у них в гостях?!.. А ведь они живут у нас на головах! И все что-то нас виноватят... Сначала — нянька-ведьма, потом мамаша за дело принимается, а придет время — найдется еще одна. Уж не беспокойтесь себе, — сама сыщется! Со вспотевшей верхней губкой...

Задумывается.

И живут они дольше нас. Мужчина умирает раньше.

Шум в прихожей. И через некоторое время входит САШЕНЬКА, племянница Ивана Павловича. На ней беленькая шапочка, вся она румяная от мороза.

САШЕНЬКА. Дяде письмо! Дяде письмо!.. Ай, должно быть, я его на лестнице выронила... Дядя, дядя, тебе письмо было!

АЛЕША. Давай сюда!

САШЕНЬКА. Я его в муфточку сунула, а теперь его там нет...

Смеется, бросает Алеше муфточку.

АЛЕША. Дурочка! Нечего было тогда и цапать его своими кошачьими лапками. Что за дрянь у тебя в муфточке

липкая?

САШЕНЬКА. Конфекта!

АЛЕША. Гадость какая!

Достает из муфточки сильно помятое письмо.

Да ведь это же дяде письмо! Как ты его взяла?

САШЕНЬКА. Мне его передали.

АЛЕША. Кто?!

САШЕНЬКА (*смеется*). А ведь у нее муж. Ребенок.

АЛЕША. Скажи, Саша, отчего женщины еще и страдают?!

Все у них недомогания, разочарования?.. Ведь это же так, в сущности, удобно — жить на чужой голове?!

САШЕНЬКА. Как это — на голове? Я ничего не знаю об этом.

АЛЕША. Он увез ее за границу, потому что она была несчастна, она сама умоляла его об этом. А когда ее муж опомнился и помчался за нею вслед, когда они вновь сошлись... Дядя остался там один и платил, платил по их счетам...

Входит ИВАН ПАВЛОВИЧ. АЛЕША тотчас же прячет под себя письмо — садится на него. Грозит Сашеньке кулаком. Дядя целует Сашеньку в щечку.

АЛЕША. Попробуй только скажи!

ИВАН ПАВЛОВИЧ. Опять вы за свое? О чем вы это? О чем вы говорили сейчас?

Усаживается на диван. САШЕНЬКА, смеясь, подсаживается к нему.

САШЕНЬКА. Я не могу, дядя! Он мне кулаками показывает. Я не могу, не могу ничего сказать. Если б Алеша разрешил...

ИВАН ПАВЛОВИЧ. Алеша, позволь ей сказать!

АЛЕША. Нет!

САШЕНЬКА. Вот видишь! Не могу. Это, дядечка, не моя тайна, алешкина! Ведь это он раньше был хорошим смешным котенком, а теперь у него есть тайны...

Гладит по рукаву дядю.

Вся наша мужская линия окружена страшными тайнами... А можно я в душку тебя поцелую? Вот сюда, в ямочку, ниже горла, между ключицами? Здесь душка!..

Целует дядю.

А можно еще раз?

Целует.

ИВАН ПАВЛОВИЧ. Ну хватит, хватит...

САШЕНЬКА. Еще раз!

ИВАН ПАВЛОВИЧ. Хватит, Сашенька, ты уж меня зацеловала. Что нового, какие сплетни?

САШЕНЬКА. Да ты, дядя, сплетник?

ИВАН ПАВЛОВИЧ. Сплетник.

САШЕНЬКА. Ну хорошо...

АЛЕША, стараясь, чтоб этого не видел дядя, помахал ей письмом и погрозил кулаком.

Лизочка выходит замуж!

АЛЕША (*стукнув себя по коленкам*). Черт!!

САШЕНЬКА (*быстро*). Она отказала Алешке и выходит теперь замуж!..

АЛЕША колотит себя по коленкам.

АЛЕША (*кричит*). О, черт, черт, черт!..

ИВАН ПАВЛОВИЧ. Это правда?

САШЕНЬКА звонко хохочет.

АЛЕША. Правда! Это правда!.. Перестань смеяться! Черт! В

этом нет ничего смешного!..

ИВАН ПАВЛОВИЧ. Алеша! Как же это, Алеша?!

САШЕНЬКА. Она отказала Алешке и выходит теперь замуж! Она выходит потому, что — деньги! А у Алешки нет денег! У меня нет денег!.. Ты бы, дядечка, конечно, дал нам этих денег, если бы не спустил их всех на эту дрянь!.. Правда?

Смеется.

ИВАН ПАВЛОВИЧ. Правда. Дал бы.

САШЕНЬКА. Если б не эта дрянь!.. Тебе от нее письмо.

ИВАН ПАВЛОВИЧ. Где?

САШЕНЬКА. Вон у Алешки. Подай его сюда, Алешка.

АЛЕША. Деньги!.. Что же, я без денег — нехорош? Хуже, чем с деньгами? А если я украду или зарежу, — лучше я тогда буду, с деньгами?

Помолчал и отдал дяде письмо. ИВАН ПАВЛОВИЧ читает его. Прочитал и положил листок на колени. Аккуратно разгладил ладонью. Молчат.

(С азартом). Я теперь плакать не стану! Главное начать! Пусть слух по старухам-сводням, что, мол, милые вы мои! — деньги нужны!.. Сыщутся! Чем невеста старше, тем денег больше! Пускай тогда сразу старуху ищут!

САШЕНЬКА. Да это же неприлично!

САШЕНЬКА тихонечко тащит письмо с Ядиных колен, из-под его ладони. А он ей не дает.

АЛЕША. Какие еще приличия?! Пошла прочь, здесь деньги лежат!

САШЕНЬКА. Да ведь у старух гречишные пятнышки по рукам!

АЛЕША. А мне что за дело?! Не век ей...

САШЕНЬКА. А вдруг заживется?

АЛЕША. Отравить как крысу! Прочь, старая! Куда ей деваться? И пойдет, и пойдет...

САШЕНЬКА. А ведь она, Алеша, любви запросит!

АЛЕША. Ее деньги, пускай. Но чтоб в темноте, свечку потушить! Свечек не надо!

САШЕНЬКА тянет письмо на себя.

ИВАН ПАВЛОВИЧ (*резко*). Ты мне мешаешь!

САШЕНЬКА. Я не буду, я не буду.

ИВАН ПАВЛОВИЧ. Который теперь час?

Голос у него неприятный, как будто бы он сейчас где-то в конторе или на вокзале.

АЛЕША. Четверть шестого.

ИВАН ПАВЛОВИЧ. Сколько?

АЛЕША (*мягко*). Четверть шестого.

Пауза.

(С жаром). Старухе можно с молодыми изменять! Она, конечно, станет угрожать самоубийством. У молодых и у старух здесь порядок один!

Дядя вновь читает письмо. САШЕНЬКА следит за его шевелящимися губами. И Алеша следит.

(Дождавшись конца беззвучного чтения). Весь дом полон смерти! Ножницы, серные и фосфорные спички, ножи и вилки, укус, спицы и вязальные крючки, толченное стекло, мышьяковые шарики, пояс от халата, турецкая сабля над диваном, с четвертого этажа в пролет, под извозчика, в реку, в бане угорела...

ИВАН ПАВЛОВИЧ. Который теперь час?

АЛЕША. Половина шестого, наверное.

ИВАН ПАВЛОВИЧ. Сколько?

Молчат.

АЛЕША (*рассмеявшись*). Вы, конечно, знаете, что все старухи — страшно подлые! Старуха, например, может заготовить такое письмо, где — «в смерти винить»!.. Я, конечно, отыщу и изорву его, а у старухи, мол, еще есть, у адвоката!.. Только крепись, только не дай слабину, а то в сумасшедшие палаты попадешь! Тогда Лизочка в реке утопится.

Дядя снова, уже в третий раз прочитывает письмо. САШЕНЬКА пытается читать его вверх ногами, но ничего у нее не получается. Пауза.

ИВАН ПАВЛОВИЧ. О чем ты, Алеша, сейчас говорил? Извини, я отвлекся. Который теперь час?

АЛЕША. Я говорю — Лиза в реке может утопиться.

ИВАН ПАВЛОВИЧ. Какая Лиза? В реке? Отчего? Бог с тобой, я ничего не понимаю. Вот который теперь час, скажи?

АЛЕША. В любой реке! Мало ли теперь речек? Всюду свои есть!

Вошла НЮТА. Прислонилась к косяку.

НЮТА. Ужинать будете?

Они молчат.

Или опять чаю? Или поесть захотели?

Никто ей не отвечает.

АЛЕША. Война по гроб — наш договор! Либо я в сумасшедший дом, либо старуха в гроб: жребий!..

НЮТА. Кто в гроб?

АЛЕША. Старуха.

НЮТА. С ком это ты?

АЛЕША. Об старушке об одной знакомой.

САШЕНЬКА, взяв из безвольных рук дяди письмо, прочи-

тывает его. АЛЕША следит за ее губами. Они все как дети, когда читают, губами шевелят.

НЮТА. А как ее зовут?

АЛЕША. Кого?

НЮТА. Старушку?

АЛЕША. Никак.

НЮТА. А я ее знаю?

САШЕНЬКА перевернула плечиками.

САШЕНЬКА. Лошади. Керосиновая лампа. Три мандариновые дольки.

ИВАН ПАВЛОВИЧ *(тихо)*. Перчатки.

САШЕНЬКА. Да, еще перчатки. Еще стаканчик с серной кислотой.

Дядя закрыл глаза. Видно, что он сейчас не здесь, а где-то очень далеко. САШЕНЬКА села возле его ног на скамеечку. И НЮТА присела, руки сложила на коленках, поправила фартук. Т и х о . Так бывает, если самовар на столе перестает шуметь, то становится слышен тогда ход настенных часов.

САШЕНЬКА *(дяде)*. Ты где?

Он молчит.

Высоко или низко?

АЛЕША. На воде или на земле?

ИВАН ПАВЛОВИЧ. На земле.

АЛЕША. В лесу или в поле?

ИВАН ПАВЛОВИЧ. В лесу.

АЛЕША. У воды или у горы?

ИВАН ПАВЛОВИЧ. У воды.

АЛЕША. День или ночь?

ИВАН ПАВЛОВИЧ. Ночь. А который теперь час?

Пауза.

АЛЕША. Без четверти шесть. А что в письме? Я прочту?
Можно?

АЛЕША поспешно берет письмо, читает.

НЮТА. А я вот где, угадайте? Ни в городе, ни в лесу. Ни день, ни ночь. Церковь видна и птички поют... Фу ты, сама все сказала...

АЛЕША читает письмо.

АЛЕША. Участь моя решена!.. Я не могу больше находиться рядом с этим человеком, не могу быть больше во власти его!.. Выпал мой жребий! Еще вчера днем я специально дала Котику съесть три мандариновые дольки. К ночи у нее проявились красные пятна на щеках и на ручках. А значит, мамаша моя и сестрица уж с утра будут здесь!.. Вечером, в шесть часов я буду ждать тебя у магазина колониальных товаров. Там в витрине по вечерам зажигают керосиновые лампы, чтоб не мерзли стекла. Я увижу тебя через стекло и выйду к тебе. Там в витрине поставлены стаканчики с серной кислотой, чтоб не мерзли стекла...»

Поднял глаза.

Зачеркнуто...

Читает дальше.

«Не его упреки, не хмурое его молчание тяжелы для меня. Нет, не это... А вот как обрезаны ногти у него на руках — вот что невозможно, от чего хочется кричать и можно, кажется, ударить!.. Когда силы покидают меня, и мне негде взять душевного подкрепления, я тайком пробираюсь к вешалке, где на столике брошены по обыкновению его перчатки. Стоит прижать эти его пер-

чатки к лицу и вдохнуть его запах... У меня темнеет в глазах, я становлюсь диким животным, а вокруг меня бамбуковый лес, и мне нужно лишь одного, — крови, крови!.. Уедем, уедем отсюда! Ничего с собой не бери, лишь паспорт и деньги! Все у нас с тобой будет, поверь мне, будет с избытком, потому что быть с тобой — это счастье!.. Я жду тебя ровно в шесть. Возьми лошадей.»

Молчание. НЮТА сокрушенно качает головой. АЛЕША не смог усидеть на месте, вскочил и пробежался туда-сюда по комнате. Но тихо, на цыпочках, не нарушая наступившей тишины. Упал в кресло. Попрыгал в нем.

АЛЕША. Ну-с!.. Что ты нынче пишешь? А?

ИВАН ПАВЛОВИЧ *(не открывая глаз)*. Да так.

АЛЕША. Все для «Русского Инвалида»?

ИВАН ПАВЛОВИЧ. Ага.

АЛЕША. Дрянь-газетенка.

ИВАН ПАВЛОВИЧ. Путевые записки. Дорожный дневник, знаешь. Печатают.

АЛЕША. Дрянь, дрянь, пустяки! Без всякого направления газетенка. Там одни замшелые сидят.

ИВАН ПАВЛОВИЧ *(он все еще не открыл глаз)*. Да я только так. Обычно — по вопросам. «К вопросу о...» «, Еще раз о...» Вот путевые записки теперь, мелочь. Печатают.

САШЕНЬКА. А ты бы рассказ написал! Из жизни. Или повесть. Повесть — хорошо, роман — долго, а повесть — хорошо! Или, знаешь, — нувеллу!

Хлопает в ладоши и звонко хохочет.

Да, да, нувеллу с сюжетом! Я так люблю, когда — нувеллы! Когда с сюжетом!..

Дядя открыл глаза.

ИВАН ПАВЛОВИЧ. А который теперь...

Не договорил «час». Не успел. В башенке часов ожила жестяная картина: Ева протянула Адаму яблоко, и прочее... Ничего нового в том, как судорожно дергаются кусочки поржавевшей жести, нет. Никто и не глядел на них. Ч а с ы б ь ю т ш е с т ь р а з. Все, как дурачки, шепотом сосчитали все шесть ударов. Зная, что их будет именно шесть, не пять, не семь... Молчание.

ИВАН ПАВЛОВИЧ (*в отчаянье*). Зачем вы врете?! Зачем?.. Дурацкая детская страсть вранья! (*Хватается за голову*). Зачем, зачем?!

АЛЕША (*вскинулся*). Что мы врем? Что?!

САШЕНЬКА. Мы? Врем?!

ИВАН ПАВЛОВИЧ. Это болезнь: врать и врать и врать! Здесь лечение нужно применить! Когда крадут и крадут, — это kleптомания. А когда врут и врут, — это, это... — я не знаю что!

АЛЕША. Скажи, скажи, что было соврано, скажи!

САШЕНЬКА. Нечего сказать! Нечего? Нечего?!

ИВАН ПАВЛОВИЧ. «Пил ли ты, Алеша, молоко?» — «Нет, не пив!» Вместо буквы «лэ» — буква «ве»! «Не пив!..» А у кого тогда морда в молоке? У кого верхняя губа с белой каемочкой?!.. «Ела ли ты, Сашенька, пастилу!» — «Не ева!» Опять проклятая буква «ве»! А у кого тогда пальцы слиплись, щеки липкие, — противно даже взять такого ребенка на руки?!

АЛЕША (*у него дрожит голос*). А если я сейчас спрошу в ответ? А?.. Кто называл детей — обжорами?!

САШЕНЬКА (*кричит*). Меня называл! Мясницкой улицей!..

НЮТА. Детей не надо оговаривать, когда они хорошо кушают. Если ребенку сказать — «толстый, румяный», — его можно сглазить. Нехоршо это.

ИВАН ПАВЛОВИЧ (*взвившись*). Да черта мне с ними, — пускай кушают! Им никто против этого слова ни разу не сказал, чего бы они себе не жрали! Врать-то, врать-то зачем?!

АЛЕША вскочил.

АЛЕША. Так!.. Минуточку! Минуточку! Я прошу тебя сейчас же сказать, как честного человека, — что было соврано?

Пауза. Дядя вдруг как-то обмяк. С недоумением посмотрел вокруг.

(*Звенящим голосом*). Ну-с!.. Я жду. Повторю свой вопрос. Так-с! Что — было — соврано?!

ИВАН ПАВЛОВИЧ (*боромочет*). Господи Боже мой... зачем все это, зачем?! Про Лизочку зачем?.. Что не хочет она за тебя замуж, что все сорвалось, что деньги, мол... Что невесте сорок шесть... Старухи какие-то, с любовью за деньги, но без свечек... зачем?! Что Лиза в реке утопилась?! (Рассмеялся). Нет, ты скажи мне, глядя мне в лицо, скажи — я глуп, чтоб Лизочка в реке утопилась?! Я же не так глуп, чтоб — в речке! Зачем, зачем вы врете?..

Молчание.

НЮТА. Попрекать детей едою — самое последнее дело.

Молчание

АЛЕША (*искренне*). Вру. Я вру. Не знаю зачем. Зачем — не знаю.

И закрыл лицо руками. Сел. САШЕНЬКА смеется.

НЮТА. Теперь бы самое время покушать. Может, даже и поужинать? Четверть седьмого...

Ей не отвечают.

АЛЕША так и сидит — закрыв лицо руками, чуть покачивается.

ИВАН ПАВЛОВИЧ (*Алеше*). Милый мой, хороший... Лизочка тебя любит, хочет замуж. А ты все тянешь. Вот проиграешь свои сто рублей в карты, выпьешь с Дулевичем свои пятнадцать бутылок шампанского... Нагуляешься, и — под венец!.. Пойдут дети: ветрянки, краснухи, крапивницы, потницы, почесухи и пузырчатки, — Боже милостливый!.. У жены — грудница, картавость, имение в Смоленской губернии, где мужики без спросу рубят лес... У тестя — виолончель. Вечером простоквашу с черным хлебом, на ночь — Майн Рида... Белые туфли с дырочками, мягкая шляпа на затылке, велосипед и удочки. Мальчика лечить от заикания, девочкам покупать ноты, самому выучиться на мандолине, жене — цветочные луковицы, себе — средство для ращения волос... И ради Бога! — никаких нувелл с сюжетом!.. Ничего этого не нужно!..

АЛЕША. Прости. Мне все это как-то весело показалось: взять да наврать.

САШЕНЬКА. Весело же было, весело! — про старух с четвертого этажа в пролет! И про свечки весело.

АЛЕША. Я подумал, нужна какая-нибудь историйка, чтоб дядю развеселить. Вот и...

ИВАН ПАВЛОВИЧ (*с силой*). Я ненавижу историйки! Я ненавижу повести с сюжетом! Нувеллы, романы...

Молчат.

НЮТА. Видно, пора самовар ставить.

Молчат.

САШЕНЬКА. Ой, а я люблю! «Бедная Лиза»!.. «Наездник без головы!» «Грани жизни», «Тернистый путь», «Ценою

чести» Сеславина, «Шепоты жизни» Брешко-Брешковского!... А «Робинзон Крузо»! Сколько он, бедный, пережил, не зная, что все так хорошо кончится в конце!

ИВАН ПАВЛОВИЧ вдруг всхлинул.

ИВАН ПАВЛОВИЧ. Бедный, бедный Робинзон!..

Пауза.

АЛЕША. Да ты не на шутку, дядя, расклеился. Совсем занемог. Приляг.

Дядя укладывается на диване.

(Помогая ему лечь). Я, знаешь, люблю, когда — сюжетец! Ей-Богу, иногда — ничего.

Дядя достает из кармана большой клетчатый платок и громко, обиженно сморкается.

ИВАН ПАВЛОВИЧ. Ненавижу, ненавижу все это... «В тени высокой липы, на берегу Москвы-реки, в один из самых жарких дней тыща восемьсот пятьдесят... черт-те какого года лежали на траве два молодых человека. Один на вид...» Глупость какая! Глупая глупость, мне нечего больше добавить.

Сморкается. Вздыхает.

«—Что, Петр, не видать еще? — спрашивал 20-го мая тыща восемьсот дурацкого года, выходя без шапки на низкое крылечко постоянного двора, барин лет сорока с небольшим в запыленном пальто... и без клетчатых панталон...»

САШЕНЬКА *(серьезно)*. Что же это он — без панталон?

Так и написано? Ты, видно, напутал.

ИВАН ПАВЛОВИЧ. Какая разница?

САШЕНЬКА. Если ты, дядя, не понимаешь...

ИВАН ПАВЛОВИЧ (*прерывая ее*). Не понимаю! Да-с! ... Не понимаю!.. Для пущей важности еще и год указывают — когда произошло! Да никогда, никогда этого не было вовсе! Зачем, зачем вы врете, зачем год указываете, день, зима или лето, час, да еще на таком-то, мол, месте все у них и стряслось!.. «Глядя на нее, он подумал, что...» Черта ли ты знаешь, что он там, собственно, подумал, глядя на нее?! Тебе об этом никогда, дураку, бродяге, не догадаться!.. «Он ее любил!» Сюжет! Она съела кусок мяса, он ее убил!.. Перемена от несчастья к счастью! Черта-с-два!..

НЮТА. Ты уже три раза черта сказал. Дело к ночи, зачем?

ИВАН ПАВЛОВИЧ. Прости, няня, прости, милая, я не буду. Я больше не буду!.. Дураки, я не расклеился, я как раз наоборот — сейчас же и выздоровел! В другой раз я в сюжет не попаду!..

Привстал на диване.

Нельзя позволять впутывать себя в сюжет!..

И погрозил пальцем.

Это насилие! Не имеете права! В кутузку?!.. Ногою в дверь — и на вольную волю. Пошел, пошел, нечего!..

Смеется.

Куда?!.. В поставщики повестей для «Домашнего чтения»? В мещанскую трагедию и семейный роман? В куролеску?!.. Чтоб сделаться героем романа в новом вкусе?.. Из тихой, хорошей такой жизни, Боже мой!.. Где есть машинка для папирос, а на заварочном чайнике — теплый колпак, на ключах — брелочки, где «Итальянский полдень» в гостиной, а под кроватью Конан Дойл и все его «би-воз-веа», все «шелл и вилл»... Где так все хоро-

шо, где такая хорошая, теплая, нелепая жизнь, и вдруг — бац! — в роман?!... Где какой-то мерзавец всем случайностям жизни придаст значение и найдет всеобщую их связь? найдет причины, следствия, начало, середину и конец, — ужас какой!.. А самое смешное, — там будет стиль! О-о, стиль!..

Хохочет.

А ничего этого нет! Ни связи, ни начала, ни конца — нет! и уж, извините, жизнь совершенно бесстыльна! Она — как придется, и тем хороша! и слава Богу, как хочу, так и живу, в истории и историйки — калачом не заманишь! Путевые заметки — это можно, это свободно. Еще хороши всяческие описания, и когда про охоту, — тоже хорошо. Но чтоб там не было ни одного абзаца со слова «вдруг»! Если только так: «Вдруг испортилась погода, но вдруг она наладилась». «Вдруг наступила зима, а потом вдруг — лето...» Ведь хорошо же, правда?

Пауза.

АЛЕША. Мне вдруг поесть захотелось. А тебе?

САШЕНЬКА. Хорошо бы на белый хлеб с маслом уложить целый следок мармеладу, может, даже и два следка!

АЛЕША. А лучше репку лука растеребить, обмакнуть в соль, и с черным хлебом!..

НЮТА молча встала и вышла.

САШЕНЬКА (*кричит ей вслед*). Если есть грецкие орехи, то я могу их наколотить! А ты сверху медом полей!..

Молчат.

АЛЕША (*вздыхнув*). А все-таки, дядя, хочется иногда какого-нибудь сюжетца. С хорошим концом!

ИВАН ПАВЛОВИЧ. Концов вообще нет!.. Ни хороших, ни

плохих! Все тянется и тянется, все ничем не кончается. Глупые, вы думаете, если он под поезда упал на последней странице, так это плохой конец?.. Это хороший, хороший! А вот если: жил и жил, и все было по-прежнему, — вот это плохо!.. Глупые вы какие! Зачем, зачем? Вот смотрите, как хорошо...

Слез с дивана. Встал в задумчивости посреди комнаты. А СШЕНЬКА тут же залезла с ногами на диван, одну подушечку под спину, другую на колени, и обняла ее.

С чего бы начать? Впрочем, это совершенно не важно. Дураки говорят, что начало это то, что само не следует по необходимости за другим...

Смеется. Загибает пальцы в счете.

Одиннадцать слов!.. А смысла в них — вот! (*Показывает кукиш*). Начать можно с чего угодно, и весь тут Аристотель!.. Начнем хоть с печки! У ней на темной дверце отлит изогнутый цветок лилии... Кто говорит — лилия, а кто говорит — нет. А нам — наплевать!.. Вьюшки ее как пуговички на мундире начищенные. Мать говорила, что это — надворный советник, я говорил, что — исправник, а истопник — что — мучение!.. По кафелю можно написать чернилами плохое слово. И если шепотом прочитать его потом, — по животу пройдет холодок. А потом можно и представить себе предмет, который это словцо означает. Если предмет мужской...

АЛЕША. То на конце его пиши «ер»!

Смеются.

ИВАН ПАВЛОВИЧ. А если предмет женский...

АЛЕША. То без «ера».

Смеются.

ИВАН ПАВЛОВИЧ. ...то скорей послуנית палец и стереть написанное, как будто его здесь и не было никогда!..

Прошелся по комнате.

Вот буфет!.. В нем можно спрятаться, в нижней его колоде. Там был подслушан разговор отца с Нютой. А потом — отца с матерью. А после — матери с Нютой. Дело кончилось слезами... В отделении для салфеток есть тайник, про который знали все. А в отделении для вилок тайник, про который знали не все, некоторые знали... Там — медальон матери, где прядь волос неизвестного, и спрашивать про это нельзя! Орешек в золотой бумаге... Игральная карта: пиковая десятка, означает черную вещь, болезнь, а при короле или даме — брачную постель!.. И про нее спрашивать тоже нельзя, никто и не спрашивал... На письменном столе глобус с вмятиной на Африке и на Аляске. Он дважды падал, один раз Африкой, другой раз — Аляской. От чего сделалась выпуклость на Туркестане... Зеленое сукно залито по левую руку чернилами, пятно вышло с зайца с двумя ушами. Его лучше прикрыть локтем, когда пишешь. Потому что, когда видишь этого зайца, думается совсем не о том. Об другом...

Часы бьют: семь. Молчание.

(Бормочет). Так можно описывать без конца. Конец вообще не важен. Говорят, после него нет ничего. Но это неправда.

Помолчал.

Можно дать занавес где захочешь. Дернул за веревочку, он и упал! А что уж там за ним дальше было, — это их личное дело, тут наш интерес обрывается!.. Может, кто-

то уже проехал черный, копченый туннель в Альпах, где смешно закладывает уши. И на крохотной станции, где подвешены к потолку цветочные горшки, уже купил себе кружку козьего молока и букетик фиалок... А теперь тянет пахитоску, делая губы буковкой «о»... Но это уже другая история, и она нас — избави Боже! — не касается!..

Входит НЮТА.

НЮТА. Значит, так... Холодные котлеты. Яблоки. Еще есть телятина, но она несвежая, потому что на улице жара. мухи, а ваш разлюбезный Степан, хоть я ему и говорила, — ...

Падает занавес.

Ольга Мартынова

СУМАСШЕДШИЙ КУЗНЕЧИК

О.

Там, где царит река,
Где солнце крошится на сколке дня,
Круглые звуки языка
Как мечи скакали вокруг меня.
Там было больше теней, чем тел,
И так был запущен чугунный сад,
Что даже в мороз где-нибудь потел
Черный, во времени сбившийся виноград.
И потому, что он так зарос,
Этот сад, он уже исчезал,
И в ненужную роскошь чугунных роз
Хаос узкие когти свои врезал.
Там было больше зеркал,
Чем испуганных отражений,
И было больше сквозных лекал,
Чем верных слов и движений.
А от некоторых слов
Поднимался пар кровяной,
И от некоторых снов
Пахло паданцами и виной.
Там и садовник был,
Но от старости и тоски
Он лейку свою забыл
И на розах сушил носки.
Но и там можно было смотреть

Из какого-нибудь угла
На то, что прекрасно, и петь
Бессмысленное «ла-ла».

Вот все, что я знаю про сад,
И про все другие сады.
Красота — это, может быть, ад,
Как все другие ады,
Где можно будет сидеть,
Там, где помягче зола,
Надкусывать яблоки, петь
Бессмысленное «ла-ла»...
93

ШКОЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ

Весна. Склоняет некто ухо
Над странным и неряшливым столом.
Там разговор, слюнясь над сливой,
Ведет косматая старуха.
Под ватную пятою сна
Она была там, где...
и в злом
лице красивом Страх и мука.
Так говорит она: «А ну-ка
«Мой сон доразгадай.»

— Он улыбается довольно сухо —

«Я вброд ручей перехожу.
«Я в белом платье.
«Я суженого нахожу.

«Он мне кольцо надел на палец.
«Оно ползет, оно шипит.
«А я уж на крыльце сижу.
«и между пялец
«узор мигает и дрожит.
«И вдруг с канвы как поднялся —
«То конь стоит передо мной —
«Как вал морской. Бежать нельзя.
«Он уж давит меня пятой
«И плетью бьет. Ну я проснулась.
«И чаю выпила. И слив поела... »

— Старуха замолчала и надулась —

Он вышел на крыльцо. Парадный снег
Был холоден и сух.
И площади казенные лежали.
Река текла. Невинных обижали.
Обидчики читали Ничше вслух
С неряшливым акцентом новой речи.
Обиженные тоже. Место встречи
На фонаре. Потом качнуться вправо.

— Там он провозгласит:

«Тройка.» «Семерка.» «Дама.» —
94

* * *

Так страшно ласточки кричат,
Как бы очнувшись ото сна.
Психея сонная, смотри-смотри,
Пласты земли и воздуха морочат

Своих жильцов: и травы, и крольчат,
И горних птиц, и корни остролиста.
Смотри-смотри,
У ласточки внутри
Наверное туман иного зренья.
Не слышу я пронзительного свиста,
Не чую я, когда кипят коренья
У ведьмы под землей
И золотые щупальца хиреющего дня
Касаются ее дремучего вина.
И мир разъят.
И ласточки кричат,
Смотри, Психея.
94

В.Струкову

Внезапной жажде подобно
Быстрое бормотанье
Жизни чужой и забытой,
Как устрица нераскрытой.
И чужое дыханье
Пристально и подробно.

Не сон смущает, но черты,
Оставшиеся от
Его обманной простоты,
Его дремучих вод.
Ты можешь пошутить над ним,
Но не поможет и это,

Когда лицо укроет в дым
Заспанная Грета.
Скажи: Каренина, душа,
Улыбка, дым, перрон...
Она была так хороша,
Так благороден он;
Но если ты смешаешь сны,—
Она — ледок улыбки,
Он — слава ледяной страны,
Пустой окурок «Шипки».

Но что смущает? то ли сна
Смещенное движенье,
То ли моря и вина
Подложечное жженье?
Ночь, юг, веранда, красное вино,
Гортанный голос, слышимый все глуше —
Все памятью едва освещено,
Как фонарем полоска желтой суши.
Медузой страшной посреди морей
Имперской розы виделось кольцо,
Но в зеркале она еще страшней,
Когда увидишь в нем свое лицо.

Когда не крови черный шар,
Пускай бы отцвела,
Пускай бы этот пышный пар
Забыли зеркала.

Скажи: Каренина, душа, —
И карта сна готова.
И сгинувшая навсегда

Исчезнет снова.
Она была так хороша,
Но сна блестящая вода
Накрыть ее готова.
93

ЗВЕЗДЫ

Я... усмехался вам из канавы и Ф... внимал с отдыхающего сенокоса,
ЗВЕЗДЫ! и мне были когда-то новы нежалящие ваши укусы.
Одному вы пели хоры и гимны, другому
Насвистывали отвращение к дому, а я,

Проходя по чужому лугу, по чужим следам, по чужому полю,
По чужому лесу, отдавая испугу от вашего шороха то,
Что предназначено было вам,
Знала только, что вы равнодушны и дики,
Как дикие пчелы — равные души — в черных ягодах бзники.

ЗВЕЗДЫ! проходя по ухающей, голодной земле,
Видя себя чужой и свободной всегда бродить по чужим садам,
По чужим дорогам, по своим следам,
Я не догадывалась о многом,
О том, например, что скоро настольная лампа станет
Мне интереснее ваших страннопримных, но равнодушных станов,
О том, что потом я уже никогда не выйду (в чужое поле,
Где в центре воздушных переплетений
Неприятно пахнет пылью каких-то растений)
Под ваши холодные, никуда не летящие стрелы.

Не зная этого, вашей вести расслышать я не успела.

94

* * *

Сервался с туч неспелый луч.
Заря-заря походкой торопливой
Прогнула облачное белье.

Ленивый зимний день червивый
Не даст сюжета. И не мучь
Его. Не тереби ее.
Она, заря, уйдет, качаясь.

(Набухнет сырость ноздревато,
Зима ни в чем не виновата.)

Зари обиженная песня
Скользит, не отличаясь
Ничем от песенки гугнивой,
От вьюжной песенки гугнивой.

(Набухнет сырость ноздревато,
Зима ни в чем не виновата.)

Заря-заря своей ленивой,
Бездумной, лживой, торопливой
Походочкой все прыг да топ —
Легла в светлеющий сугроб
И до весны уснула там —
Цветет подснежник по пятам.

94

СУМАСШЕДШИЙ КУЗНЕЧИК

Летит с кустов какой-то пух,
На соснах дрожит смола.
И птичьих клювов вечный страх,
И ледяная игла,
И ватка с эфиром,
Что веет над миром —
Все у небесного кузнечика в руках.
Осы тенями мелькали в росе,
И густо-слоеные крылья ночниц
Черным снегом роились в овсе,
И медвяные дождики не начались,
Когда он прилетел,
Как листок пустотел.
— Так о чем твоя песня?
— О жирной земле,
О прозрачных плодах в звенящих садах,
О том, как можно в остывшей золе
Зарыться — не вспомнит никто обо мне.
Было: сто тысяч таких, как я
С земли поднялись во внезапном огне,
Казалось, что не
сжигая все, но наново кроя.
Среди голой зимы я очнулся один —
А воздух от жара дрожал
Я себя ногами отгородил
И щеки руками сжал.
Пала тьма, блескуча, густа и жестка,
Как плащ какого-нибудь жука.
В этих крыльцах укрыл бы я без труда

Жалкую зелень стыда,
Но я мчался без времени и пути,
И я то-рад, что сумел найти
Этот край, где покой и роса,
И легкие небеса...

... Он остался с нами, всегда на былинке одной
Покачивается, вглядывается в пустоту.
Мы облетаем его стороной
(— Что мы? — даже птицам невоготу
приблизиться), Этот жалкий блеск,
Этот жаркий треск
большой и шумной его головы —
Во всех решетках росы и травы.
93

Евгений Мякишев

ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ

* * *

Петрополь — потерянный город
И мертворожденный, верней,
Он мертвородитель... и ворот
Пеньковый затянет плотней
На шее того, кто не знает,
Что жизнь здесь — не жизнь, а игла,
Которой простор протыкает
Проворная невская мгла.

ВЗБИРАЮЩИЙСЯ ЛЕС

Листая воздух моложавый рукой уверенной и лживой,
Мужчина лысый и поджарый, в шинели — стало быть служивый, —
Дымя цигаркою дешевой, гулял по плоскости плешивой
С подругой жалкой и лажовой в тулупе скверного пошива.
Стояла осень — лист пожухлый кружился над осиной чахлой,
Вдали кроваво-красный, жуткий закат означился над чащей;
Мужчина пальцем по планшету водил, шепча: «Парапютисты
Облюбовали пустошь эту в 42-м году, фашисты!
Здесь шли бои, моя Наташа, мы шли на смерть порядком пешим —
Вся полегла пехота наша до одного, Наташа, где ж им...» —
Тут он осекся, вытер рожу и продолжал, ладонью режа
Холодный воздух: «... Втерли тоже и мы фашистам —
только где же...»

Он вновь осекся, и с размаху, Наташу прижимая к моху,
Рванул шинель, потом рубаху, потом тулуп, — ан нет, подвоху

На грош не верила Наташа — она была агентом СМЕРШа,
— Ты лжешь — была победа наша! — но осеклась милиционерша;
«Мы были третий день на марше, до нитки под дождем промокли,
По старшинству шли — те кто старше — воспоминанья нету горше —
Шли впереди, — мужчина лысый опять точил умело ляды. —
И тут, Наташа, эти крысы на нас направили фугасы.
Здесь ад, Наташа, был крошечный, был бой

смертельный — рукопашный,

Все полегли. Я выжил, грешный, на мне вот

шрам остался страшный.»

Сгустились сумерки. Наташа, развесив все же сдуру уши,
Поверив наглой вражьей лаже, врагу раскрылася... наружу
Из-под тулупа грудь достала, а он в ее нагое тело
Вонзил клинок немецкой стали — без суеты — легко — умело.
Он труп ее стащил к оврагу и погрузил в гнилую реку,
Звеня медалью «За отвагу», он двинулся от века к веку,
Листая воздух молодежавый рукой уверенной и лживой,
Мужчина лысый и поджарый, в шинели — стало быть служивый,
Дымя цигаркою дешевой, сквозь жизнь по плоскости плешивой —
Сюжетец — так себе — грошовый, хоть справедливый, но паршивый.

* * *

Ступенчатый воздух Невы, голубое дыхание Невки,
Фонтанки растерянный взгляд — только образы,

только слова.

По жизни все проще: Фонтанка, в ней плещутся девки,
Мелькнут над поверхностью ноги, затем голова;
Веселые крики струятся, а город, застывший
Гранитный гомункулус, смотрит на все из-под век.
— Ужели такое бывает, помилуйте, в бывшей

Столице империи? — спросит меня человек
Нездешнего свойства — пермяк или дочь Мухосранска,
Поправив худой армячишко на впалой груди.
— Бывает, — отвечу, — представь! — и открою шампанска
Абрау Дюрсо и, отпив, проворчу: — Уходи
Отсель подобру-поздорову, немытая стерва,
Твоя лохмоногая близость смещает пространственный круг.
Сей город есть область больного нерусского нерва,
Но русского, впрочем, с коротким названьем *истуг*.

Владимир Губин

Из цикла
«КЛУБОК АНОМАЛЬНЫХ МЕТАФОР».

Короткие саморассказы без названия.

Памяти нашей Валерки.

* * *

Однажды среди катаклизмов отечества Зайцев ушел из истории в отпуск.

— Определимся, — достал и допек его в отпуске Волков. — Если ты маленький ростом, а время такое сугубо голодное, значит имею надежду тебя натошак ободрать. Или ты возражаешь?...

Естественно, бросился Зайцев управу найти на Волкова, много суровых испытаний прошел он одну за другой по железисто-рыжей росе косолапым аллюром, и все было зря, потому что, куда ни ткнись, у закона заклинило двери. Тьфу, сказали Зайцеву где-то конфиденциально через отверстие черного хода. Послушай, кручина, вот если бы, наоборот, уважаемый Волков искал управу на Зайцева, тогда сразу видно, кого приструнить.

А так яма, сказали в ухо.

Поддай свою жалобу на Тараканова.

Телегу на Тараканова, Килькина, Кошкина, Кошкина-Мышкина тотчас охотно рассмотрим, а то — нарушается всячески субординация.

Но Зайцев уперся в упрямяство своей самооценности меж-

ду стволами старинного сада.

На лавочке между стволами, куда занесло человека на пару минут отдохнуть от испуга, садовый порядок и тишина сотворили неуязвимый настрой.

Впечатляло достоинство нового места.

Вечером он удивился впервые луне.

В углу небосвода сегодня луна специально прожгла себе дырку, чтобы полюбоваться на Зайцева.

* * *

Псих Анатолий сначала по телефону затребовал японскую миниатюрную вещь:

— Электрозубочистку тебе не жалко в оплату за подлые шашни? Тогда привози, договоримся.

— Мы по-хорошему договоримся? — вопрошал я спустя полчаса, вручая выкуп.

— Ага, — вертикально ползком Анатолий, рыдающий псих, обнаглел у меня на груди. — Но свитер еще приплюсуй. Не забудь еще свитер и новые брючки.

— Ты спятил!..

— Обыкновенная мелкая сделка, сымай.

— Где Веруня?

— За шкафом сна, — рыдал Анатолий, втирая потную лысину в эти новейшие джинсы, которые только что были моими штанами. — За шкафом она, говорю...

— Что делает?

— Обнажается.

— Как обнажается?

— Как я велел ей. Полностью.

— Полностью?

— Все, что надето на ней, возвращает. Отдам ее, но без

имущества.

— Граждане судьи!..

— Что, граждане суки? — рыдал он, акула.

Нет, я незадаром увел у него жену. С этой чудачкой вдвоем, ограбленные по-скифски до нитки, мы, вынужденные нудисты, спешили трусцой к автобусу. Толпа свидетелей нашего срама тарачила вялые зеркальца глаз, озирая на редкость облезлую парочку, напоминавшую каждому встречному что-то, пожалуй, такое.

Что-то знакомое — женское, что-то мужское — знакомое смолоду по худобе.

Мы пошли на толпу нахрапом, а та, продолжая зевать и жевать, отступала немного по центру. Внезапно какие-то второстепенные принципы неба затеяли хай наверху. Там агрессивные птицы вороны, смущенные видом античности, сорили зычно пером. Эти летучие крысы роняли на плечи красавице самые гнусные, самые хамские, самые серые грязные перья.

Любезной привычкой народа в автобусе, благодаря тесноте контингента, была воровская привычка на поприще неразберихи. Людишки-братишки на поприще неразберихи лукаво наощупь искали карманы пальто друг у друга. Беззвучно посредством украденной мелочи всяк устремлялся безудержно разбогатеть, а посредством украденной почести — приобрести возвышение донельзя. Порой возникала, конечно, грызня. Кто-то нарушив условия, плохо стоял или дергался не по стандарту.

Нас они защекотали:

— Маскировка? Хитрость, эй, вы, голопузые, мните? Ржавой копейки боитесь обществу передоверить? Если таких из автобуса вдруг об асфальт ягодицами? Где вы заначку заныкали?..

Мое жилище повеселело при женщине.

Грудастая Вера, чумазая, как обезьянка, размяла постель, источавшую запах интимной теплицы.

Даже транзистор, испорченный временем, ожил и внятно промямлил известия:

— Слушайте, некто спился!... Некто снится... Вот еще каверзный клоунский случай... Внимание... Некто предприниматель ушло добыл электрозубочистку, но пострадал. Эта злая машина застряла, сломалась, и рта не закрыть. У него пере-кошена пасть.

* * *

Не взрыв оптимизма по кровотоку, но сверхимпульсивный рывок еще глубже вовнутрь обнаружил опору.

— Здравствуйте, — сказывал я второпях ей банальную реплику сгоряча.

— Здравствуй, — ругалась она мало-мальски вполголоса не для печати.

— Пригубьте в охотку.

— Стопочку разве что?

— По дружбе как если бы.

— Чем угощаемся?

— Крымский портвейн. Упойная сила — сами посмотрите...

— По дружбе не пью. Зато хочется на бытие без органики вне притяжения матки-материи.

— Не жалко меня, воплощенного в опыте свойств углерода, бросать поперек обстановки?

— Не приbedняйся подкидышем, — отвечала моя душа суть опоры, которая ведала связью на стыке пространства с аутоферой. — Не жалко, нисколько не жалко.

— Как это нисколько не жалко?

— Зачем я снабжаю тебя чувством юмора, пьяница?

— Попрекаете?

— Почему несуразный такой ты?

— Да потому что мне страшно.

— Превозмогай, — душа берегла закадычное тело, которое было призванием этой души. — Страх еще пуще наркотика день ото дня провоцирует увеличение суточной дозы боязни...

— Превозмогай? Резонерша...

Когда сообща на Руси закипали нередко сгущенка потемок и прочая прочная слепопись ужаса, как искажение космоса, мне каждый раз анонимно с обеих okazji грозили случайной расправой. Мне постоянно грозили случайной расправой, но крохотный, как обреченный, крохотный перед обвальными пусками той чертовщины вразмет, я себе виделся всяко не маленьким, если нутро моей тяжести, что расположено где-то секретно внизу моего живаота, не давало меня силачам опрокидывать.

Я был у них изнурительным их антиподом.

И снова куда-то взмываю песчинкой со скоростью многоколесного велосипеда.

Цитата:

— Коррекцию шеи работали сразу два мастера, страх и страховка.

* * *

Она каждодневно возле метро христорадничала на брюхе.

Мелкие медные суммы стучали спереди в обыкновенный кисет у нее между лапами.

В язвах июля мы поощряли на всхожесть остатки своей доброты:

— Четвероногих уважаю.

— Хозяина, видно, содержишь.

— Он инвалид и вдовец? Или кто?

Собака пропала нескладно. Следы покушения, мертвая кровь и кисет, обличили на месте собачьего промысла более падшего хищника. Всхожесть имела с изнанки типичную вшивость:

— Учился на ветеринара, но позвала живодерня, прельстя максимальным окладом.

* * *

Накуролесив ботинками рваные ямы по снегу, странник брезгливо мотнул головой, на которой цвели бесподобные уши, румяные и завитые, как розы:

— Шапку волк съел. Она, старомодная шапка, была велика мне и волк посочувствовал этому горю, но все-таки жалко пустяк. О себе скажу вкрадчиво, кто по профессии. Скульптор. Я шел изваять обнаженную снежную бабу-ягу с гармонью. Молчите? вы почему все молчите, не хвалите? Вы сигаретой ребенку готовы помочь? Ибо мне причитается куш, а то вылеплю вас вместо бабы, потом археологи пусть содрогнутся, какая заявлена статуя. Что значит, какая? Глядите, какая? Вы столбик. А далее тоже смотрите сюжет. Итак, упомянутый столбик, если точнее сказать, истукан вертикально под общим наркозом, имеет единственный глаз во всю щеку. Но в удивительном этом излишестве, переходящем в неряшество, главную роль интереса на вашем условном лице без ноздрей предоставлена мне трусливого благополучия. Мера ваших особых примет оказалась утра-

ченной либо совсем обезжизненной возобновиться. Возобновиться в исконных правах и пропорциях из уцелевшего материала немислимо. Ну, вы загнули репризу, кто здесь Дымосфен! Я Дымосфен языком? Ошибаетесь, я начинающий классик. Ежели надо, могу на суде предложить доказательства, как удовольствия. Давеча вылепил из пластилина коня. Помню, как я сначала содеял размашистый хвост скакуну — рыжий факел вразмет, а затем в анатомии лошади встретилась уйма неровной поверхности. Пухлые мускулы, впадины, складочки, линии — можно с ума сойти! Вдобавок одна передняя поднятая нога предстоящего произведения напоминала крикливо хоккейную клюшку. Воображаете лошадь, которая цокает с горки на горку спортивным инвентарем? Она с таким знаком отличия вряд ли достойна события, чтобы, как друга, ее запрягали в телегу. Как друга — как дуру. Но случай помог нам, я плюнул ей в морду. Хромая кобыла сверкнула слюной, все равно что слезу пролила с целью вызвать сочувствие. Ладно, жалея скотину, скатал из нее пластилиновый шар. Не темно вам, о чем говорю, что скатал из нее пластилиновый шар? Я скатал из нее пластилиновый шар, а сам ахнул. Абстракция, чую, не шар, а шедевр!..

Осквернитель и бездарь, он ожидал одобрения.

Местные силы тепла, суховеи нагоном от вытяжной вентиляции местных цехов и другие накладки энергохозяйства, мешали вблизи производственных зданий морозу схватить его за нос.

* * *

Фонтанка.

Не посоветую никому топиться в этой протоке.

При мне туда некто шагнул — упал один, а всплыло

двое.

Дело было с Аларчина моста.

* * *

— Кому гениальную мысль о пожаротушении? Как ошарашивать искросорящее пламя.

— Новые мысли принимаем у граждан ограниченно по талонам.

— Я помню, что по талонам. Их я допрежь израсходовал, а мысль уродилась и ждет испытания. Крайне полезная мысль.

— Это какая же на фиг она полезная, когда ни фига не полезная?

— Почему?

— Незаконнорожденная! Гениальничаете, гениальничаете, мудрите нарочно сверхумные штуки да штучки, сгущая распущенность импровизации, но позабыли, не помните, что неумному каждому гению все-таки норма предшествует.

— Ошейник? А что сверх ума, то куда приспособить?

— Ошейник? А что сверх ума, то, по-вашему, разве не перхоть? Если талонами не регулировать инициативу мыслителей, количество перхоти на побережье скоро достигнет уровня выше потребного.

— Полноте, на каком еще побережье?

— Да на любом, образно говоря. На любом есть учет и лимит. Экономика.

— Гм, у Декарта сказано, что покамест я мыслю...

— Зачем?

— Я существую, покамест я мыслю.

— Зачем?

— Единомышленника мечтаю найти. Мыслю поэтому

безвозмездно, как и живу не в ущерб экономике.

— Безвозмездно? Такие ваши подарки взяткой немного пахивают.

Из очереди, мать-общественность, я вышел оборотом оборотом. Улица перемешала меня с остальными прохожими по глинозему. Всюду летели навстречу талоны, которые ветер остросюжетно крутил и бросал окрест общежитий.

* * *

Мужик уловил интригующий перезвон орденов и нахрапом очнулся в акустику полночи.

Когда-то страна-крематорий прославилась истопниками, которым она воздала по заслугам, а Ваську за все то же самое несправедливо напрочь отвергла, поэтому Васька, достойный почета не менее, чем остальные, сегодня спросонок изныл, осязая наплыв обстановки.

Ничто наяву не звонило, конечно.

Кроме дыхания кошки, всеобщая спесь интонации звуков ослабла вокруг и была, как осевшая понизу пыль, анонимной.

— Ты некрещеная кошка Матрена, дыши, — прежние многие ночи, покудова кошка досыта западала в иножитие сновидений, Васька сбирался в уме накопить ей не злые слова.

Сбираться-то Васька сбирался, да смутно себе представлял, о чем эти слова, но, похоже — насчет одиночества.

Завтра случись у Матрены кончина, Васька во след ей, боясь одиночества, мигом исчезнет издохши.

— Ты во все ноздри дыши, во все ребра...

Васька, жалея себя, не посмел ее растормошить и заплакал; он еще плакал и мысленно клялся, не каялся, когда

завонило где-то повторно, — в ушах или где?

Чул Звонили подземные колокола.

На горке практиковал ясновидящий мистик.

Он оказался нагим, а поверх его плоти ползли неразборчиво грязные трещины — здесь еще мистики нет, она далее.

Далее, кстати для целомудренных, он оказался нагим условно.

В общем, это чудовище не было наверняка Диогеном, оно было каменной глыбой.

— Не мешкай, не мешкай, потом опомнишься! — воскликнул, изумля бравадой неряшества, тот известняк. — Учти, во-первых, это не трещины...

-- Во-первых? А что вы прикажете мне во-вторых учесть?

— Я предлагаю морщины. Попробуй взглядеться туда поглубже. Вгляделся? Вгляделся, не врешь, и не трещины видишь? Это в итоге деселого нрава такие морщины.

— Морщины такие? Надо же, вас угораздило!..

— Конечно; ты точно подметил. Э, правда, какие же, сударь, это морщины? По-моему, тут обитают извилины мозга. Согласен? Извилины мозга размашисто выются снаружи туда-сюда вкривь и вкось? Уму стало тесно. Сударь, уму стало со смеху тесно! Давай сосмеемся на радости. Шутя сосмеемся первейшему празднику смеха, что мы не подрались. Я, кроме того, сочиняю смешную комедию. Помогите подобрать ей название, сударь. «Укор и замашка», допустим. Или, допустим, «Укол и замазка», выбери сам: У меня, сударь, есть и фамилия.

- Блеф?..
- Я Макушкин.
- Ахинея...
- Ты про смешную комедию так осмелел? А между прочим, она целиком о тебе написана.
- Как обо мне? Что там обо мне?
- Содержание. Что для коллекции на показуху ты сам интересный заскок у природы.
- Неужто? Факты, пожалуйста.
- Пожалуйста. Факты. Природа путем устройства твоей биографии предполагала добиться возвышенной цели, но ты, слаборазвитый сударь, отлынивал и постоянно хитрил ей подножки, живя по-другому.
- Живя по дешевке, что ли?
- Здесь остановимся. Вы, глупые люди, не признаете себя долгожителями. Вам угрожают извечно три "С", и вы напрямую чахнете с удовольствием, а долголетие предполагает... а долголетие как обновление... предполагает искусство многожды менять изолинию жизни...
- Пушисто сказано. Три "С" это скука, сумятица, суд?
- Это скорость...
- И старость?
- И старость, и главное — серость.
- А скука?
- Гоу тхе гау, тха-тха! — Макушкин утробно захохотал, исполняя работу, какая несвойственна камню, поэтому смех у него получился наивным и косноязычным эссэ.
- Хотя в обстоятельствах юмора люди нередко противятся вызову, мне стало смешно вопреки суеверию, будто бы камни беспечно мрачны.
- Что по своей метафизике гоу тхе гау, то гоу тхе гау.
- Волна грандиозного смеха в азарте раскатистых обза-

ведений подвесь уступила внезапно каллапсу.

Как обомлела.

Макушкин, — облако пыли, которое приподнялось унести себя вместе с ужимками после чувствительной трагикомедии, — рассыпался вдребезги долу, не слыша нахрапистой собственной славы, что всех облапошил и засмешил, озорник.

* * *

«... В омуте нового Санкт-Петербурга суксился давеча карлик, иссиня разлизанный смогами, как и другие такие же карлики, карлики-дни пресловутого некогда лже-Ленинграда.

С утра под окном обывала бродячая стая собак и горела помойка, махавшая черными флагами дыма, затем эти кадры текущей зимы заслонило предчувствие, будто бы вечером я ненароком умру, потому что когда-то родился.

Помню, сегодня мои свеременики, жлобы в очках и в обнимку с авоськами для выживания, двигали медленно сочными жвалами, не замышляя себе никаких интересов и целей, кроме корысти раба, дорожащего похотью повинываться хозяину под оболочкой взаимного сходства по скотству.

Зима со двора сквозь оконные щели насыпала белой трухи на столешницу.

Капля на каплю наплаканы под абажуром останки за-летного снега...»

Так.

Или примерно так, обострю когда-нибудь это время в исповедальной строке своего завещания внуку, дескать, у дедушки-суетуна проворонена жизнь. Юра, конечно, поймет

ее фокус и риск, она была подлинно страшная да невзправду настолько дурная, как я повествую, но такова мифология памяти. Прошлое там отражается недостоверно, прошлому льстят или мстят анекдотцами.

Пасмурный замкнутый день? Это вовсе не самая тесная клетка.

Пасмурный много добрее, чем если когда никакого.

Поэтому рыпаюсь.

Ибо.

* * *

— У себя дома пузатому тесно дергаться, да? — полюбывал Яша, когда толстяка перестало трясти.

Вдвоем они посредством аттракциона «Чертво колесо» возносились к верхушке горы-невидимки, спеша на случайный пикник.

Их разговору в полете вредила сначала вибрация, — правда, толстяк оценил это вредное внешнее действие шкурно по признаку собственной выгоды, как процедуру массажа для тучных, и чинно минуту-другую приплясывал торсом.

— Это где же мне тесно? — зевнул он и скукислся перед бутылкой, словно позировал ей принудительно на опознании. — Мне тесно в отдельной трехкомнатно-кооперативной квартире с окнами на музыкальную фабрику? Там у меня фамильный ковер!

— А у меня как у Чехова дома...

— Что? Разъясни свою биографию.

— Три сеструхи по линии мамы, все младшие.

— Слово даю, что ковер и кобель. У меня, повторяю, ковер и кобель, и цветные заморские слайды с девицами, телками, но не сеструхами.

Толстяк, чередуя шумы, пил по крупному.

Вечная жертва похмелья, толстяк искусно касался губами отверстия бурой бутылки, менял угол ее наклона в утробу и мастерски весело стучал о стенки желудка спиртным, а наверх изо рта выхлопывал эхо.

— Фанфарист, — язвил Яша, завидуя. — Вдруг у тебя на хате состоится пожар?

— От самовара? — не поверил ему толстяк. — Обсудим.

— От молнии. Будешь обсуждать?

Упитый донельзя, как и, навёрное, мнительный тоже донельзя, толстяк ошалевши смотрел исподлобья в упор, угрожая напарнику взглядом, а когда насмотрелся, боднул его в челюсть.

Яша покладисто рухнул на собутыльника — точно родной без опоры плашмя на перину.

Внезапно природа в отместку за мелкие шалости переборщила свои выкрутасы всевластья.

Природа, в отместку за мелкие шалости переборщила настолько свои выкрутасы всевластья, что ветхий воздушный возок, откровенно подопытный рохля, теряя железки, творил издевательства сильного шторма, гремел и накручивал ужасы крена, фатальные трюки, зигзаги, броски. Стремительно рушился прежний надежный порядок пейзажа. Мелькали бегущие вспять облака вперемешку с газонами.

— Не душите меня, — запищал еле слышно толстяк. — А то брошу фактически жить...

— Усугубишь обстановку, — висел у него на груди, где с испуга вцепился руками незнамо во что произвольное, теплое, первенец Яша.

Толстяк истступленно пищал:

— Уберите конечности с горла, макака...

— Мил изувер! если сдуру сейчас уберу, мне — труба.
Не понятно?

* * *

Всем от общего вашего корреспондента здесь.

... Укоренился в отчасти секретном и мусорном ящике. Хотя суждено жить инкогнито, врач у меня по фамилии Балдабородов. Есть еще, кроме врача персонально следователь. Это больной, чья фамилия внешне похожа на первую, но разделена черточкой посередине. Балда-Бородов его фамилия. Следователя.

Вчера, например, я сознался в убийстве затычкой по чайнику жертвы.

— Ко-о... о-о?... — следователь олигофрен, у него дефективная дикция на допросах.

Я помогаю зайке Балде не захлебнуться разрушенной речью:

— Когда?.. Вы спрашиваете, когда?... Слезоточивая тема, дружище... То было, пожалуй, недавно... Что было, то было... На свете, глядимшь, обязательно что-то бывает... Одно за другим... Это звенья, законы самого бытия...

— Зз-а-а... зза... ззз... — или кашляет он, или нет.

Иду снова подсказкой на выручку:

— Затошнило?... Заклинило?...

— За-а... — Балда машет отрицательно головой.

— Зашился?...

— За-а... ши-шии...

— За какие шиши, на какие шиши, ничего не понятно.

— Ты... за-а... — желтые гнойные прыщики, мини-поганки на лбу человека-зайки мгновенно сменяются красными точками, вроде как искрами.

— Послушай, мой верный работник, — я понемногу Балде постоянно цитирую Пушкина. — Что вы себе позволяете? Самоуправство! Насилие жалостью!! Жалко мне вас, идиота.

По-барски вальяжно кладу ногу на ногу.

Чувствую под ягодицами скрип одряхлевшего стула.

Даже не скрип, а навверное — хруст.

— Обе ваши ноги, завитые спирально, загадочны! — кричит изнутри своей койки в углу белокурый святоша со слитной фамилией Балдабородов, очнувшись. — Обе кривые ноги в этой позе, когда нога за ногу, смотрятся лучше!...

— Лучше чего?

— Докладываю, чего!... Так эти ноги, когда нога за ногу, смотрятся лучше, чем эти же ноги, когда вы напротив у писсуара нормально стоите по старой модели, где правая, как антипод, однозначно считается правой... Думаю, хирургическая вам операция по перемене местами конечностей не помешала бы...

— По перемене местами конечностей?

— По пересадке... Модно... Готовы на то, чтобы правая слева ходила?...

— Бред.

— Инструктируйтесь, это ли бред. Это не бред, это для плюрализма событие. Тогда ваша левая, что перешита направо, становится правой, но все-таки мыслится левой, согласно ботинка... Тогда ваша правая, будто бы левая...

— Бред, если правая — левая...

— Бред — а тогда на плацу не добиться муштры зато!..

— Пры-а... пры-а... — по ходу возникшего спора заика внезапно встречается участвовать якобы в эту дискуссию как оппонент.

— Эй, вы не слышали новость? — я делаю знак ему фи-

гой, что закругляю наше знакомство. — Прыщавый мой срамоприемник! Амнистия.

Фейерверка Балды никогда не забуду.

Мини-поганки прыщавого вспыхнули снова, как искры, — затем они, как окосевшие красные блохи, запрыгали по сторонам, отлетая туда-сюда россыпью красной шрапнели.

— Вонизм! — очнулся в огне белокурый медик. — Обдуманое обстоятельства.

— Надо в окошко немедля бежать, а не думать.

— Обдумаем и насчет окна. Какой здесь этаж, обдумаем.

Я прерываю записки более-менее заживо.

Мы на шестом этаже, короче.

Ваш собственный корреспондент в сумасшедшем доме...
дыме... думе...

* * *

Ораторшу, дескать, уж по распутице «Смело мы в бой», воспринимали на митинге, как умственное плоско-стопие.

Чей-либо пращур, отрава с усами покойного сека, поднаживал очередь у микрофона, что бурая важная книжка за пазухой старца предоставляет ему ветеранскую льготу почетно по возрасту выступить, опережая других, а когда конкуренты, как олухи шанса, как евнухи митинга, как алкаши, панибратски наотмашь отбрили в усах активиста пучок, отороченный проседью, старче смутился внезапной своей некондиции. Только что был он ахти молодым, языкатым и был интейсивным, он отроду был интенсивным, и вот эта вся богатейшая гамма здоровья насмарку до лучшего раза.

Баба закончила речь обращением «И как один умрем!», а затем, откуда-то вывихнув автомат, она повела по макушкам

огонь из оружия.

Соборно впритык и навтыжку публика, норовя подпереться покруче соседскими ребрами, слушала выстрелы нехотя.

Каждой мишени приспичило вовремя вспомнить о доме.

Дома большая семья за столом, а не сплошь ахинея, чреватая здешними взвизгами без опороса.

* * *

— Красивая ряшка, — сновал обо мне дотемна по вагончику миф умиления. — Вот если бы каждому вьючному хрону судьба подыграла такой выразительной вазой на счастье...

— Да что вы? Представьте себе, сколько надобно счастья!...

— На всех если? Философема. Даже в Америке...

— Представьте себе как-никак Америку!..

— Даже в Америке, не говоря, например, о вселенной...

— Представьте себе в оба глаза вселенную...

— Даже в Америке, будь она трижды богаче, не хватит исходного материала на всех инженеров и техников уймы.

— Надобно счастья, — вторило шепотом эхо в ушанке. — Вот я педагог, а невежде, который тупица, на что красота?

— Полагается значит. Она полагается каждому, чтобы начистили походя рожу, помойная муха.

— По-вашему, хрон это хрен или некто?

Зову себя выспаться на поперечной плацкарте в ущелье купе, но поначалу, чтобы не слушать обидное шоу, даю себе неизвестно куда машинальную справку.

Судьба...

Вообще-то, небось уже сплю — потому впереди так кородивы кишки.

Судьба созидала понятия...

Хотя не совсем еще сплю — потому супротив ералаша в уме редактирую справку насчет антимонии счастья.

Судьба, созидая когда-то любимые наши понятия, предусмотрела понятие счастья не в изобилии множества, сколько сумбура по жизни мы выберем, а в основании качества, что выбираем.

Америка первая, благодаря Джефферсону, выбрала поприще здравого смысла.

Мне далее снятся набухшие крупные кольца, тугие напльвы, бугры-пузыри самоходного самостихийного чрева, которое выпукло тычется возле меня, как отечная масса рептилий.

Вагончик извоза пополнился кем-то не щеголем улицы.

— Вы-то куда, сэръ? — узнал я вслепую нечаянно гостя.
— Куда вы спешите? Здесь очень убогое время.

Но Джефферсон, отвергая стенания, кажется, думал иначе среди субтумана бессуетной Леты, чем я на закрылке своей таратайки в отишье своей телогрейки.

— Нет облегченных эпох, — утверждал он идею, что наше весьма полновесное гнойбище распеленованию мужеству духа помериться мощью.

— Зато здесь образование шибко бесплатное, правда? — сопела мурена в ушанке потухшего меха.

Но Джефферсон улыбнулся — такое, дескать, образование в Америке тоже ни цента не стоит.

Я говорил ему:

— Жизнь оскудела героями. Наше кочевье невротиков оптом обречено...

Вдруг это пророчество сразу дословно сбылось, и со-

граждане сгнули тартарары подчистую. Мне по заслугам оставили на поле будку сиротства до шока. Плывут облака, где не водится птиц, а людей негодяю не видно.

— Где человеки? — врасплох я проснулся воспеть их отзывчиво самой таинственной прозой.

— Инспекция? Вы по налогу на близорукость?

— Еще чего! Мы — на бездетность опрашиваем. Обременяет?

— Я хоть и молод, а не выплачиваю туда ни копейки.

— Много детей наимели?

— Настасья, Валерия...

— Действительно, постарались.

— Илья.

— Дальше.

— Россия.

— Россия ребенок?

— А кто?

Елена Шварц

Гостиница Мондэхель*

И. Литвин

Мир наш — гостиница, это известно младенцу.
Номер бы дали повыше, чистое полотенце,
Дали бы чашку; я б слезы туда собирала.
Слышь — монд э хель, переведи, что сказала.
Если одно ты наречье возьмешь — то получишь сиянье,
Если второе и третье — то злое навек наказанье.
Ты надолго ли к нам, в наш отель, постоялая тень?
На один только долгий, прерывистый, на один только день.
Мир наш — гостиница, это младенцу известно —
Он ведь блуждал в коридорах и жил в номерах его тесных.
Слезную чашку возьму, выпарю, чтобы кристаллы осели,
Я сама солинкой была, да растворили и съели.

Раз на Морской в грязной парадной старинной
Надпись алмзную вдруг увидала в стекле, буквы крошились:
«Я — Елена Блаватская» начертано было, длинный
Шел снег за окном, глаза белые в нем залучились —
Волчьи не волчьи, не птичьи, не человечьи.
«Я здесь была и по этим ступеням спускалась,
Снова взойду, а ты мне спускайся навстречу» —
Хлопнула дверь вниз. Колоколясь, тень подымалась?
Снега шакальи резцы и изразцы леденились.
Только кажется нам — я одна, я один —

* Если читать это слово по-немецки (с французской связкой) будет — "ясная луна", если же первую часть слова по-французски, а вторую — по-английски — то: "мир-ад".

Спим мы в постели одной и одно и то же едим.
Ближе, все ближе шаги, неужели ты, демоница?
О слава Богу! С опухшею рожей
Мимо скользнул, подмигнув, пьяный прохожий.
Ты не хозяйка мне, знаю сама своей треножник —
Вот он стоит на морозе меж Лахтой и Черною речкой,
Дым от него, здесь я и жрица
И черная злая овечка,
В жертву приносят ее, а я убегаю
И дрожу, как огонь, изнываю
И «де профундис» ору
И, Боже, Тебя призываю,
Белую водоросль рук к небесам воздеваю.
Так я до срока жила, но потом понесла от мрака
Черное облако, и оно меня поглотило
И затмило мне свет
И милые лица разъело и растворило.
Кажется — будто черно, изнутри же оно желто-серо.
Кто-то руки мне тянет, любовью спасти меня хочет,
Но и его растворяет холод и тьма этой ночи.

Труп дворняжки — видела — бросили в нашу речку,
Кирпичи привязали, ахнула речка всем покровом
тонким своим ледяным,
Звук был такой, с каким в нети рушится сердце,
Когда скажут — «он умер» — (о тебе) и становишься
сразу нагим.
Вот смотри — этак! Вот как — выпроваживают отсюда нас!
Вон! И больше не пустят ни в Москву, ни в Двину, ни в Кавказ.

Вошла, я помню, в комнату простую —
Портьера, коврик, шнур,

Луна в окне, ободранные стулья,
На потолке разгневанный Амур.
И зеркало, в котором видно только
Слепое облако и низенький диван,
Охота выцветшая, палевые волки
И в центре будто пьедестал.
А в коридоре охали, зевали
Три малолетние цыганки,
Они за горничных (вы, девы-Мойры, Парки?) —
Все что-то пряли, штопали, вязали.
Все рожи хрюкали, и коридорный все лаялся
и лаялся со мной,
Я думала, что это — просто скука, а это —
скука вечности самой.

Справа сосед, постучу ему в стенку,
Сам он — дракон, но с лицом канарейки,
В покер играем мы с ним не на деньги,
Денег у нас отродясь не бывало,
Душу ему я давно проиграла.
Слева тоже живет интересный такой человек —
Ноги к шее его прикипели и задралися вверх,
Так и скачет пародией на серафима,
Говорит — ну куда тебе деться? Ни бумаги, ни вида,
Из любого отеля прогонят, ото всех тебе будет обида,
Если себя ты не видишь, тот как себя вспомнишь?
В зеркале нету тебя — так, лишь облако, эфемериды.
— Ничего, говорю, — звезд так мало, а нас очень много,
Мы — набор комбинаций, повторений одних,
Как лекарство составлены мы в аптеке небесной,
Как смешение капель и сил световых.
И вернусь я Луной на Луну, и Венерой к Венере,

Не узнают они, пусть разодранной, дщери?
Семена мы и осыпи звезд,
Я дорогу найду, из ветвей своих выстрою мост.

Гостиница, каких, должно быть, много,
Я расплатилась, кошелек мой невесом,
Поежишься пред дальнею дорогой,
При выходе разденут — вот и все.
И упадешь ты — легкий, бездыханный
В своих прабабок и приложишься к цветам,
Тропою темною знакомою туманной
Все ближе, ближе — к быстрым голосам.
Взвесишь тогда, пролетая, свой день и свой век.
Помню — счастлив однажды был мною один человек,
Целовал в замерзшие губы рабочую лошадь, что стояла
под грудую ящиков горбась,

В пропасть,
Вспомнила, падая,
В этом круженье, паденьи
Вспомнился мне еще тот, что в этой гостинице тенью
Скользнул, в желтую стенку лбом колотился —
Экклезиаст! — это он, тьма от тьмы и тьмой поглотился.
Все я забыла — любовь, вдохновенье и мелкую радость,
Только смерть под горой голосила
Да зубами щелкала старость.
Экклезиаст! Черный гость, постоялец, вампир!
Здесь ты жил? Ну и что же? Чего присосался?
Без любви, без креста — вот он твой мир,
Я же — свет и огонь, сухо он рассмеялся.

Отпустите меня! Не хочу! Выезжаю.
Проигралась. Все золото незаметно спустила.

А тебе, будущий, знак на окне «мондэхель» вырезаю,
Пей из рюмки моей, ешь из миски моей,
Мне ж земля не последняя будет могила,
Пусть погасла свеча, но огонь все горит,
Я не этого боюсь, неминуемого,
Я боюсь океана огня хрипучего —
Что тихий свет поглотит.

Если сладко когда оно было и мило,
Это мимотекущее бытие,
То когда меня рыбой на трезубце вносило
Вдохновение в воздух — вот счастье было мое.
Вот прольется микстура, снадобье земное,
Или звездное, хлынет к огням седым,
Когда я замолчу — запоем ли камень немое
И заноем гуденьем глубоким зубным?
Тот же знак — ножку буковки каждой обвивает, как хмель,
Крошечный дрожит в словах,
Шепчет бабочка — мондэхель, мондэхель,
Вместе ясный свет и темный страх.
Январь, 83

ИЗ АМЕРИКАНСКИХ ПОЭТОВ

Переводы Алексея Цветкова

Уоллес Стивенс
ВОСКРЕСНОЕ УТРО

I

Блаженство пеньюара, поздний кофе
И апельсины, солнечное кресло,
Зеленая свобода какаду —
Смешались на ковре, чтоб растворить
Священное безмолвье древних жертв.
Она чуть грезит, чуя темный ход,
Наплыв былой беды, откуда тьма
Сгущается средь водяных огней.
Дух цитруса и зелень ярких крыл
Подобны шествию усопших чрез
Беззвучное пространство вод. И день
Тих, как беззвучное пространство вод.
Он — путь ее сновидящим ногам
К безмолвной Палестине, за моря,
Где царство крови и могильный мрак.

II

Зачем ей мертвых одарять своим
Богатством? неужели божество
Является лишь в грезах и тенях?
Иль не найти ей в солнечной тиши,
В огне плодов и зелени крыла,
В любом земном соблазне и красе

Соперника тоске по небесам?
Пусть божество пребудет в ней самой:
В страстях дождя, в падении снегов,
В печали одиночества, живом
Восторге роц в апреле, всплеске чувств
В сырую осень на ночном пути,
Меж радостью и мукой, находя
Лист лета или голый зимний сук —
Все это суждено ее душе.

III

Юпитер нелюдски рожден меж туч.
Не вскормлен матерью, и нет земли,
Расшевеливший миф его ума.
Он жил меж нами, как ворчливый царь,
Блистательный, меж низшими себя,
Пока непуганная наша кровь
В соитье с небом нам не воздала
Так, что и низший различил, в звезде.
Умрет ли наша кровь? Или она
Нам будет кровью рая? и земля
Таким ли раем воплотится нам?
Добрее станет небо, чем сейчас,
В котором пот труда и наша боль,
И вровень вечной нежности взойдет,
Не нынешней немой голубизне.

IV

«Я рада птицам», говорит она,
«Проснувшимся, но прежде, чем они
В поля пытливый устремят полет;
Но вот их нет, их теплые поля

Не вернуть — и где же этот рай? »
Нам нет ни таинства пророчеств, ни
Химер могильных или золотых
Подземных гротов, или островов
Гармонии, куда пристанет дух,
Ни сказочного юга, или пальм
На склоне неба, чтоб могли пребыть
Как зелень рощ в апреле, или как
В ней этот образ пробужденных птиц,
Мечта о вечере, что увенчал
Июнь касаньем ласточкиных крыл.

V

«Но и в покое,» говорит она,
«Мне важен вечной радости залог.»
Смерть — мать красоты; она одна
Пошлет нам исполнение наших снов
И наших грез. Пускай она листвою
Забвения нам осыпает путь,
Путь злых скорбей, и многие пути,
Где пела медь триумфа, и любовь
Нашептывала нежные слова,
Она в жару повергнет иву в дрожь
За прежних дев, привыкших здесь глядеть
В траву, что их стопам обречена.
И мальчиков влечет слагать плоды
На брошенное блюдо. Надкусив,
Проходят девы пылко в листопад.

VI

Как знать, что смерть заменит нам в раю?
Падет ли спелый плод? Или вовек

В хрустальном небе тяготеет ветвь,
Без перемен, но смертной же сродни
Земле, с теченьем тех же рек в моря,
Которых не найти, вдоль берегов,
Без тени боли тающих вдали?
Что шелест яблонь этим берегам,
На что им слив тончайший аромат?
К чему, увы, здесь краски наших дней,
Послеполуденный дремотный шелк
И наших пресных лютен перебор!
Смерть — таинство и мать красоты,
В чьем знойном лоне различаем мы
Земных, бессонных наших матерей.

VII

Проворный, буйный хоровод людей
Начнет напев в восторге летних зорь,
Их шалый гимн светилу этих дней.
Не богу их, но как бы божеству
Меж них нагому, праотцу живых.
Напевом рая будет их напев,
Из крови, возвращенной небесам.
И в их напев начнут вплетать свои
Рябь озера, зеркало божества,
Деревья-серафимы и холмы.
Чей хор не молкнет до исхода дня.
Поймут они небесное родство
Подвластных смерти душ и летних зорь.
Изобличит, откуда и куда
Они идут, роса на их ступнях.

VII

И слышен ей среди беззвучных вод
Звонящий глас: «Тот палестинский склеп —
Не духов притаившихся врата,
Там Иисус в могиле погребен.»
Нас ввергли в древний солнечный хаос,
Старинный навик смены ночи днем,
В забвенье нежилого островка,
Среди безбрежных, безысходных вод.
В горах олени бродят, и о нас
Звенит кругом перепелиный свист;
Неслышно зреют ягоды в лесу;
И в одиночестве небесных недр
Под вечер чертят стаи голубей
Неясные зигзаги, уходя
Вниз, в темень, на раскинутых крылах.

Роберт Фрост

ПОЧИНКА СТЕНЫ

Есть нелюбовь какая-то к стене,
Что мерзлый грунт под ней горбами пучит
И рассыпает глыбы верхней кладки,
И в два прохода пробивает брешь.
Охотники — особая морока:
Я шел за ними, наводя ремонт,
Где камня не оставлено на камне,
Им лишь бы твякующим псам в угоду
Гнать кроликов из нор. Такие бреши —
Ни сном, ни духом, как они пробиты,
Мы лишь к починке видим их весной.
Я знать даю соседу за холмом,

И мы выходим к нашим рубежам
И меж собой опять возводим стену.
Мы вместе с нею движемся, и каждый
Кладет к нему свалившиеся глыбы.
Одна колом, другая — просто шар,
Его мы заклинаньем подпираем:
«Лежи, где лег, пока не отвернусь!»
Уже и пальцы в ссадинах у нас.
Почти дворовая игра — в командах
По одному. Немногим больше проку:
Он весь в сосне, я — яблоневый сад.
И яблони, я говорю ему,
Не перейдут между отведать шишек.
А он: «Забор — залог добрососедства.»
Во мне шалит весна, и я ему
Пытаюсь в душу заронить сомненье:
«К чему залог? Вот если у кого
Коровы есть — но здесь ведь нет коров.
Уж раз мы строим стену, надо знать,
Что защитит она, и от кого,
И в чем кому-то от меня обида.
Есть нелюбовь какая-то к стене,
Мечта ее обрушить!» Эльфы, что ли? —
Нет, не совсем, и нужно, чтоб он сам
Дошел своим умом. Он виден мне,
С тяжелым камнем, плотно взятым в обе
Руки, вооруженный троглодит.
Мне кажется, он движется во тьме,
Но не от леса, не в тени деревьев.
Его не сбить с отцовской поговорки,
Он думает о ней, как о своей,
Твердя: «Забор — залог добрососедства.»

Харт Крейн

БРУКЛИНСКОМУ МОСТУ

Как много зорь, от зябкой зыби взмыв,
Его вращает чайкино крыло,
В кольце гремучей пены, вознося
Свободу над закованной водой —

И в безупречной кривизне, прочь с глаз,
Бесплотно, точно паруса креня,
Страницей цифр, отосланной в архив;
— Пока нас лифт не выплюнет из дня...

Мне чудится кино, экранный трюк,
Где орды льнут к бликующей игре,
Одетой в таинство, иным глазам
Предсказанной на том же полотне;

И Ты, над гаванью, сереброног,
Тобой шагнуло солнце, воплотив
Свой стиснутый порыв в твоём шагу;
Как Ты свободой собственной стеснен!

Из дыр метро, из мрака погребов
Летит безумец к поручням твоим
В рубахе парусом, как шутку вскользь
Роняет бессловесный караван.

С прогона полдень пролит в толчею,
Ацетиленовый резец небес;
Вращенье в тучах дерриков весь день...
Еще Атлантикой звенит твой трос.
И непроглядна, как еврейский рай,

Твоя награда... Воздаешь ты честь
Безвестия, что времени не смыть:
В ней мощь прощенья и милость есть.

О, арфа и алтарь слиянных бурь
(Как эти струны скромный труд срастил!),
В посул провидца грозные врата,
Молитва мытаря и крик любви, —

Вновь светофоры, пробуя твою
Скупую речь, вздох безупречный звезд,
Сжимают вечность в бисерной тропе:
И ты в объятиях нам ночь вознес.

В твоей тени я мешкал у причала:
В потемках тень твоя точней, и вот
Померкли клетки городских огней,
Уже в снегу лежит железный год.

О, Бдящий над недреманной рекой,
Свод моря, прерий грезящийся путь,
На подлых нас сойди с твоих высот,
В изгибе фермы мифом Богу будь.

Роберт Пенн Уоррен

СНЕГОПАД

Белизна безмолвия, в безмолвии отрядов
Ватных копыт, не скрипнут стремена, не сверкнет сталь —
Из-за западного холма приходит белая конница
Изгладить последний алый отсвет над склоном.
Не горн ли это? Или только ветер в елях?
Что за музыка в мире, которой мы не слышим?

Годы идут, и столько всего надо запомнить, забыть: первую
Зелень, пробившуюся в зеленом торфе, первый
Посвист дроздов и краснокрылок, прилетевших
Без числа, полных музыки и спермы;
Первый раз, когда твое юное лицо в краске отвернулось
От той, плотно вжатой меж тобой и досками забора,
Приподнявшей ладонями свои молодые груди.

Напрягись припомнить ее имя. Как ее звали?
Напрягись припомнить блеск глаз, милую глупость.

Думай о медленном набухании летнего послеполудня,
Словно винограда, яблока, сливы, пока ты лежал на холме,
И только чистые переливы неба
Наполняли глаз и сердце, и все, о чем приходилось помнить

Была немота, в которой ты лежал. Но
Послеполудни кончаются. Позже, ты помнишь,
Рука, которую ты держал в буковой тени,
В час, когда уже не услышать птичьих голосов.

Вспомни, вспомни «прощай» на станционной платформе — и
«Прощай» проскальзывает змеей в паутине трав,
Ибо мир широк, многообразен и многолик,
И конец каждого лета — осенний плод.
В каком году ты познаешь плод, принесенный тобой?

Осень клонится под глянцевым и красным бременем.
Жирная виноградина истекает под языком, сок и мякоть ищут
Темной радости горла. Ты вновь пройдешь,
где опадают каштаны,
Грезя о том, что годы назад ты, дитя, был счастлив здесь.

Но пока далеко на севере в Вермонте
Горят последним золотом клены. Когда опадают
листья, серые

Отроги гор благородны. Олени
Пасутся, где еще можно. Медведь
Вскоре уснет без снов. Будничная
Поземка теперь берется за дело, ветер
Поднимается. Укутанный в белое,
Через два штата на юг он мчит все мили к проливу,
Где снежинки, когда идешь просоленным песком,
Умирают в бухте на маленьких белых гребнях.

И просоленный песок скрипит под подошвой ботинка.

Ты не помнишь, который год был первым,
Ибо миновали многие годы. Но ныне вновь в холмы
Идет безмолвие на ватных копытах, мчание отрядов,
Затапывающих последние углы дня, и ты

Стоишь в потемках белизны,
Которая есть совершенство Бытия.

Т.С.Элиот

ПУСТЫНЯ

II. Игра в шахматы

Под нею кресло, как умытый трон,
На мраморе блистало, где стекло
В штандартах с вязью плодоносных лоз,
С выглядывавшим золотым амуром
(Другой амур прикрыл глаза крылом)
Удвоило горящий семисвечник,

Роня свет на стол, пока ему
Взмывал навстречу блеск ее брильянтов
Обильный из атласных коробков;
Витал в цветных и костяных флаконах
Искусный аромат ее духов,
Сыпучий, вязкий, жидкий — беспокойный,
И чувства в запахах топил, а воздух,
Свеживший из окна, их возносил,
Раздвинув длинное свечное пламя,
Чад со свечей сдувая в лаквайрию,
Дробя узор кассетных потолков.
Подводный лес, топимый медью,
Зеленым и оранжевым горел в цветном граните,
Резной дельфин в печальном свете плавал.
Над актикварным выступом камина
Как бы окно ушло в лесную сцену,
Метаморфоза Филомелы, грубо
Подстроенная варварским царем.
Но вся пустыня пенем соловья
Еще полна, и полон мир вражды:
«Чилик-чилик» ушам нечистым.
И прочие времен обрубки
Поведаны со стен, глазек тени,
Тощают, тщатся вон, в притихший воздух.
На лестнице шуршат шаги.
По гребнем, в бликах, волосы ее
Простерлись огненным пунктиром,
Светясь в слова, вдруг яростно стихая.
«Сегодня плохо с нервами. Да плохо. Будь со мной.
Поговори со мной. Что ты молчишь? Говори.
О чем ты думаешь? Что думаешь? О чем?
Я никогда не понимаю. Думай.»

Думаю, мы на крысиной тропе,
Где мертвецы растеряли кости.
«Что там за шум?»

Под дверью шорох ветра.
«Что там за шум? Что там затеял ветер?»
Ничего. опять ничего.

«Скажи,
Ты знаешь ничего? Ты видишь ничего? Ты помнишь
Ничего?»

Я помню,
Этот жемчуг был его глазами.
«Да жив ты или нет? Или у тебя в голове ничего?»

Но
О О О О этот шекспи-хи-ровский мотивчик —
Он так элегантен
Так интеллигентен
«Что делать мне теперь? Что делать мне?
Я выбегу как есть, бродить по улицам,
Распушенная, вот. Что нам делать завтра?
Что нам делать вообще?»

В десять горячая вода,
А если дождь, автомобиль в четьре.
И шахматную партию сыграем,
Стиснув безвекие глаза и ожидая стука в дверь.

Когда мужа Лил отправили на гражданку,
Я слов не тратила зря, я ей сказала,
С к о р е й п о ж а л у й с т а п о р а
Теперь Альберт вернется, возьмишь слегка за ум,
Он спросит о деньгах, которые он дал тебе
На вставку зубов. Давал, я видела сама.
Все выдрать, Лил, и покрасивше вставить,

Он говорил, вот не сойти, смотреть с души воротит,
Как и меня. Подумай о бедняге Альберте,
Четыре года в армии, ему пора развлечься,
И если не с тобой, других навалом, я сказала.
Неужто, она сказала. Вполне возможно, я сказала.
Что ж, она сказала, буду знать, кому спасибо.
С к о р е й п о ж а л у й с т а п о р а
Не нравится — придется потерпеть, я сказала,
Другие возьмут на выбор, если ты не тянешь.
Но если Альберт свалит, тебя предупредили.
Стыд и позор быть такой старой вешалкой.
(В ее-то тридцать один).
Как же быть, она сказала и поджала губы,
Это пилюли, я глотала, чтобы скинуть, она сказала.
(У нее уже пять, а с Джорджем чуть не померла.)
Аптекарь говорил все путем, но меня как подменили.
Ты форменная дура, я сказала.
Что ж, если Альберт будет приставать, пеняй на себя,
К чему замужество, если не **хочешь** детей?
С к о р е й п о ж а л у й с т а п о р а
А к воскресенью Альберт был дома, подавали окорок,
И я была звана к обеду, горячий он хоть куда —
С к о р е й п о ж а л у й с т а п о р а
С к о р е й п о ж а л у й с т а п о р а
Спаконночи Билл. Спаконночи Лу. Спаконночи Мэй.
Спаконночи.
Ла-ла. Спаконночи. Спаконночи.
Спокойной ночи, дамы, спокойной ночи, милые дамы,
спокойной ночи, спокойной ночи.

Эзра Паунд

КАНТО 1

Затем спустились к кораблю,
Киль на воду, в божественном море и
Воздвигли мачту, отбыли на черном судне,
Где овцы на борту, и с ними наши плачем
Обремененные тела, и ветер от кормы
Нас нес под вспученными парусами,
На судне Кирки, богини с тонко убранной прической.
Затем, на палубе, где руль затерло ветром,
Напрягши парус, морем шли до края дня.
Почило солнце, тень над целым океаном.
Мы прибыли в предел бездонных вод,
В край киммерийцев, людных городов,
Одетых тонкой изморосью, непроглядных
Для солнечных лучей,
Ни для простертых звезд, ни для чернейшей
С небес простертой ночи над жалким людом.
Вспясть ринул океан, и мы пристали к месту,
Что предвестила Кирка.
Здесь совершили обряды Перимед и Эврилох,
И вынув меч из ножен,
Я вырыл углубление в сажень;
Мы возливали каждому из мертвых,
Мед, после сладкое вино, с мукою белой воду.
Затем я многие молитвы вознес безгласным черепам;
Как заведено на Итаке, из лучших и бесплодных быков
Для жертвы, горы на костер добра,
И черную овцу Тиресию.
Кровь темная текла во рву,
Души Эреба, трупные исчадья, невест,

Юнцов и старцев, согбленных бременем;
Души в пятнах недавних слез, в расцвете девы
И многие мужи в увечьях копейной бронзы,
Жатва битвы, с их оружием скудным,
Столь многие вокруг толпились, с криком,
Бледнея, я воззвал к моим, прося еще скота;
Стада под нож и бронзой забой овец;
Возлил елея и воззвал к богам,
К Плутону мощному, к премудрой Просерпине;
Достав из ножен узкий меч,
Я сел отваживать назойливых бессильных мертвых,
Покуда не проговорит Тиресий.
Но прежде прибыл друг наш Эльпенор,
Непогребенные, поверженные наземь
Останки, брошенные нами в доме Кирки,
Без слез, без облачений, ибо понукала нужда.
Тень скорбная. И в торопливой речи я вскричал:
«Что, Эльпенор, ты прибыл на брег сей темный?
Пришел ли пешком, упредив суда?»

И тяжек его ответ:

«Злой жребий и обилие вина. Я спал у очага у Кирки.
Сходя неосторожно по длинной лестнице,
О притолоку грянул,
Нерв вдребезги хребетный, и душа ушла к Аверну.
Но помни, царь, о неоплаканном, непогребенном,
Сложи мое оружие, на берегу могилу надпиши:
«Без жребия и с именем в грядущем здесь лежащий.»
И водрузи весло, что заносил я среди живых.»

И Антиклея пришла, я отмахнулся, и фиванец Тиресий,
При золотом жезле и, распознав меня, сказал:
«Ужели вновь? Зачем? О муж злосчастный.»

Лицом к бессолнечным умершим, к безотрадной юдоли?
Отпрянь от рва, оставь мне мое кровавое питье
Для прорицанья.»

И ступил я прочь,

И укрепившись кровью, он молвил: «Одиссей
Вернется по злопамятству Нептуна, по темным хлябям,
Всех спутников утратив.» И тогда явилась Антиклея.

Лежи в покое, Див. То есть, Андреас Див,

В officina Wecheli, 1538, из Гомера.

И он отплыл, к сиренам, а оттуда прочь и дальше,

В пределы Кирки.

Venerandam,

По критскому присловью, Афродиту, в золотом венке,

Supri munimenta sortita est, веселую, orichalchi, в золотых

Нагрудных лентах, темновекую тебя,

Со златолистой ветвью Аргикиды.

У.Х.Оден

* * *

О жатвах слыша, гибнущих в долинах,
Нагие видя в устье улиц горы,
За поворотом упираясь в воду,
Прознав про смерть отплывших к островам,
Мы зодчих чтим голодных городов,
Чья честь — овеществленье нашей скорби.

Которой не узнать себя в их скорби,
Приведшей их, затравленных, к долинам;
Провидя шум премудрых городов,
Коней осаживали, взмыв на горы,
Поля, как шхуны пленным с островов,
Зеленый призрак возлюбившим воду.

У рек селились, и ночами воды
Под окнами им умеряли скорби;
Им грезилась в постелях острова,
Где танцы ежедневные в долинах,
Где круглый год в цветущих кронах горы,
Где страсть нежна вдали от городов.

Но вновь рассвет над ними в городах,
Не встало диво, разверзая воды,
И золотом не оскудели горы,
И голод — главная причина скорби;
Вот только сельским простакам в долинах
Паломники твердят про острова:

«Нас боги навещают с островов:
В красе и славе ходят в городах;
Оставьте ваши нищие долины
И с ними — в путь по изумрудным водам;
Там, подле них, забудьте ваши скорби,
Тень, что на вашу жизнь бросают горы.»

Так много их ушло на гибель в горы,
Карабкаясь взглянуть на острова;
Так много пуганых под игом скорби
Остепенилось в грустных городах;
Так много кануло безумцев в воды,
Так много бедных навсегда в долинах.

Что им развеет скорби? Эти воды
Взойдя, озеленят долины, горы,
Где в городах не снятся островам.

С.В. Петров

ПОТОК ПЕРСЕИД

КУДА?

фуга и вальс

Куда деваться от неполноты
и мокреди сердечной февраля?
Я сам с погодой перепал. Но ты
послушай все же грустного враля!

В конурке весенней
собака на сене
не спит и не пьет, и не ест.
Живу не по году
любую погоду —
в обход и в обег, и в объезд.

Послушай, Душенька! Тебе радея
нутром огромным, как слепым умом,
с пути сбиваюсь я в себе самом.
Печального послушай прохиндея!
Живу в глухом году, все в том же, где я
тебе немилый мим и мощный мом.
(На ниточке пляшу я над дерьмом)
Идешь, как снег, ты над моим письмом.
И ты мне где-то в далеке немом
нежнее каватины Берендея.
Послушай! (говорю упрямо я)

Снегурочка! В плакучей бороде я
барахтаюсь, бессилием владея...
А ты — последняя заря моя.

А годы годятся
на то, что плодятся
собачьи отжитые дни.
И песенки песьи
в их простоволосьи
могильному вальсу сродни.

О Господи! Как время моросит!
А я лежу неутоленной силой.
Над голой заостренною осиною
заря прозрачной тряпчочкой висит.
Но все еще ни глаз, ни рот не сыт,
и хоровод, как воздух, пахнет псиной.
А снег крупинчатый, какою кашей
он станет нам на заунывный ужин?
А ты все уже! И судьбине нашей
я стал теперь до ужаса не нужен.
И вот подсяду я к огню с Агашей,
с Агнушей иль с приникнувшей Нюшей...
(Пес побери! Снегурочка! Послушай!
Что если буду, как Лутоня с Лушей?
Послушай, как топочут по земле?
собачьи хороводы в феврале!
А ты идешь, как снег, и сыплют хлопья,
и воля Божья — как судьба холопья

Шитьем пустот
ты занята,

порвав все нитки в прежнем.
И я не тот,
и Ты — не та:
друг другу еле брезжим.
А простота
легла и спит,
привыкшая к потерям.
Ты испита,
и я испит.
Скрипит твой каменный терем.

Снегурочка! Черны, как угли, сучья,
и жизнь, как тяжесть, вылезла из гирь.
Снегулочка! несется свадьба сучья
и расщеперилась звезда паучья,
и я, поверь, ей-богу не Мизгирь.
Нет больше ни туза, ни короля,
ни козыришки не осталось даже.
Не слушай заунывного враля!
Ведь я — все тот же, да и ты все та же.
Не сбрендил я и жизнь опережу
тем, что себя Тобой разбережу.
Я — Берендей, от древней силы слабый.
До счастья я хотел дойти пешком.
Снегурочка! Ну стань хоть снежной бабой!
Снегуленька! Ну кинь в меня снежком!

Чу! Загуляла улочка
жадно, жарко и жалко.
Ты ли это, Снегулочка,
или опять русалка?

А жизнь — проженная прокуда.
И не беда, что ты худа,
что ты — как дырка ниоткуда.
да только мне с тобой куда?
7-12 февраля 1974

* * *

Приходит гость из Гатчины,
как приговор от них —
бобровый, молью траченный
расстрига-воротник.

Метет он бородищею,
язык тяжел как пест,
и в нем судьба Радищева
и Аввакумов перст.

И доля дуралеева
лелеет точно мзду
в себе звезду Рылеева,
Полярную звезду.

Несчастьем одураченный,
но чем-то вечно юн
ершистый, молью траченный,
страдающий ворчун.

Бредя походкой шаткою,
он с болью — как с собой —
собольей машет шапкою,
как на судьбу рукой.
6 октября 1969

* * *

Вкруг пагоды висит осенняя погода
на черных сучьях и на тусклых клочьях туч.
У колеса времен совсем не стало хода,
и бронзовый баран — как позабытый ключ.

И мнится, белый свет ни сладок и ни горек,
а в вечный будень он обыденный обед
В буддийской тишине лежит мощный дворик,
и снится кирпичам заоблачный Тибет.

Стоит на Севере большой и косоротый
из камня сложенный кроваво-серый мрак,
как древней мудростью, скудея позолотой —
и нет вокруг него ни горсточки зевак.

Только вывеска из тени
повещает вдруг, что тут
морфологии растений
(неподвижный) институт.
окт. 1972

* * *

Присели кроткие церквушки,
Как бы озябшие зверушки.

Но мнится: только их спугни,
Как в россыпь ринутся они,
Покажут крохотный, с вершок,
Невинный хвостика пушок,
Господни робкие зайчатки.

И в русских искренних снегах,
Как бы в неписанных веках,
Их лапок вижу отпечатки.
1955

Я голой памятью сижу в своем уме,
как в банной кадке поддавая пару,
и смерти говорю, как медленной куме:
с тобой не стану париться на пару,
но чист к тебе приду я, как евангелист.
Ты мне в диковинку, но и в досаду.
Так что ж пристала ты как банный лист
к склонившемуся над судьбою заду?
И каждый день живет без долга и без денег.
а тело — переметная сума,
и сад в окне торчит, растрепанный как веник,
и как закат горит румяная кума.
И только кислый квас еще остался в жбане
а каждый поцелуй — подобие глотка,
и все же парюсь я с кумой в предсмертной бане,
и капли — как на гроб удары молотка.
7 декабря 1973

СОБОР СМОЛЬНОГО МОНАСТЫРЯ

Стоит небесная громада голубая,
пять медных солнц над ней вознесены,
а век вертится рядом, колукая
кусочки сини со стены.

Чуть слышится барочный образ трелей,
певучих завитков намек.
Но музыка молчит. Вколочен в гроб Растреллий,
а день как тряпка серая намек.

Кто мчится напрямик, а кто живет окольной,
кто на банкете пьет, а кто так из горла.
По-вдовьи грузен храм без колокольни,
она, воздушная, в девицах умерла.

Воспоминание о ней — как о кадавре,
на чертеже она рассечена.
Сестра ее на променаде в Лавре,
как дама в робе, все еще стройна.

А церковь вдовая ушла подальше
от медного болвана на скале
и, вроде позабытой адмиральши,
стоит облезлым небом на земле.

24 февраля 1975

САД

Написать на куртине бы лето!
И от солнца холст полосат.
Как в последней картине балета,
Весь на сцену выходит сад.

От решетки и до калитки,
Будто прыткие пастушки,
Пораспрыгались маргаритки.
Но прыжки их — лишь на вершки.

Ход подсолнухов одинаков:
Тик да так они, так да тик!
Вьются в такт им юбочки маков,
Жмутся нежно фижмы гвоздик.

И петуний китайские шляпки
Закивали во все углы...
Свищут пеночки и оляпки,
И малиновки, и щеглы.

Георгины еще в покое,
А пионы уже трубят,
Но, как лебеди, спят левкой,
Лознгрины белые спят.

В страсть кидаясь и в пыл шиповный,
Разворачивают розы рты,
Размалевывают, как поповны,
Девы-мальвы свои мечты.

И звенит жемчугами франта
И в зенит идет и в надир
Голос — палевое бельканто,
Гладиолус, тенор, Надир.

И статс-дамами астры встали
В перьях страусовых, и вот
Сам Прокофьев ведет из дали
Королевских лилий гавот.

И от солнечного оркестра
Расписной и зной и туман.

Машет веточкой Август-маэстро,
Сумасшедший балетоман.

Нет, не в Фаусте заклинали
Вас, цветы, устами менад —
Это в летнем балетном финале
Весь на сцену выходит сад.
1944

* * *

Как вы полны, земные пять минут,
когда пекут блины, белье стирают,
торгуют телом, песенку поют,
целуются, в квартире прибирают,
в трамвае едут и судьбу клянут,
животики от смеха надрывают,
рожают и пускают в дело кнут,
возводят из соломинки уют,
по морде бьют, ломают, создают,
и дремлют, и от пули умирают
иль просто Богу душу отдают.
1974

* * *

А так — какой мне интерес,
Топорщась и топырьась?
На! Как арбуз меня — на взрез,
а хочешь — и на вырез.

Бери скорее алый кус,
не бойся подавиться!

пусть на тебе я зарекусь
отныне зреть и злиться.

Ну а сама ты — на отрез,
навыверт и навывлет.
тебе, свались оно с небес,
и счастье опостылит.

В обузу буду? Обойдусь!
Сойдет и без арбуза.
И с плеч долой, как грустный груз,
на то ведь ты и Муза.

ПОТОК ПЕРСЕИД

Ночь плачет в августе, как Бог, темным-темна.
Горячая звезда скатилась в скорбном мраке.
От дома моего до самого гумна
Земная тишина и мертвые собаки.

Крыльцо плывет как плот, и тень шестом торчит,
И двор, как малый мир, стоит не продолжаясь.
А вечность в августе и плачет и молчит,
Звездами горькими печально обливаясь.

К тебе, о полночи глубокий оком,
всю суть туманную хочу возвесть я.
Но мысли медленно в глухом уме моем
Перемещаются, как бы в веках созвездья.

КТО Я?

Я думаю иль кто-то мыслит мной?
Рука с плечом мой? Или рычаг случайный?
Я есмь лишь часть себя иль гость необычайный?
Начало вечности или конец срамной?

Настигнутый умом, я сплошь одни увечья,
Настеган истинами, еле-еле жив.
И, голову в сторонку отложив:
Уж лучше Божья ложь, чем правда человечья.

Я С ЖИЗНЬЮ РЯДОМ

фуга

Я с жизнью рядом. Но не вместе с ней?
(А лишь во сне?) Но как тогда? Бок о бок?
Разметаннее иль тесней?
Измучен? Безразличен? Или робок?
Она ль покойница иль сам я гроб
повапленный? (Поваленный колодой?)
Она ли дышит изо всех утроб
(и от нее несет дебею природой)?

Я с жизнью неподвижно лежу,
но жалости я не подам и вида,
лишь с чьих-то век слезу тяжелую слижу.
Слижу, но слажу ли с тобой, моя обида,
тяжелая и слезная? Слежу
свое остылое, бобылий свой очаг
и тело длинное тяну подобно кличу

о смерти. Неужель я так зачах,
что всяческие мелочи в очах
(в отчаянных) до боли увеличу?

Я с жизнью рядом, и глаза — в глаза
вонзаются все злее год от года.
Из худа ни добра нет, ни исхода.
Да и не надо! Вот, она, свобода, —
лежать, не разумея ни аза,
как с вековой колодой колода.

Жить — как лежать. Привычнейшая жуть!
И с боку на бок, ну хоть как-нибудь.
О нежить нежная! Соленая русалка
и медленная сонная вода.
Лежится мне ни шатко и ни валко
(свобода боли — право, не беда!)

Ты жизнь иль женщина? Я с жизнью рядом,
с такой лобастой, на месте, вплавь...
Не поздно ли идти на дно к наядам?
Соленый всплеск очей? Ты женщина иль Навь?
Поканителиться она не прочь. Молчит.
(Пока не телится и не мычит
и, сбоку будучи, отсутствует сурово,
в фиалку превращенная корова.)

Ты — вывернутый наизнанку миф.
Ты — лежище ума, одетого наничку.
Ты — чуждая кума. С тобою покумив
какого-то себя (и руки притомив),
я счастье — словно птичку-невеличку

в грудную клетку — запер и гляжу,
как длинно с жизнью рядом я лежу.
Как медленно! То как сама стихия,
то от бессилия зевая жалко,
как Зевс безрогий во весь рот. Ах, Ия!
Фиалка, телка, девка и русалка!

Скажи мне, жизнь моя, тихонько, кто ты.
Хоть на ушко одно словцо шепни!
Зачем молчишь, глядя во все пустоты
(где только камни под ноги да пни)?
Утрата — как отравы мне к рассвету,
и разом выпить, право, просто яд.
но всякий раз глаза с утра вопрос таят.
Они при мне и вечность простоят,
глаза, которых может быть и нету.
С неладой-жизнью пребывая рядом,
я обнимаюсь неумным взглядом,
как лядвеи огромным, и всем стадом
усталым слягу, голову сложу
под этот взгляд, где брежу и блажу,
где еле брежу, жалобно и нежно,
где чуть ворочаюсь, брезгливо и небрежно...

Я с жизнью рядом — с Блазнию или с Блажью? —
благословляя силу вражью,
русалочьи — ничейные — глаза,
лежу, не разумея ни аза.

Сергей Юрьенен

МИЛАЯ МАМА

Вернувшись, он вынул из портфеля сначала продукты, потом пачку писем, сел к машинке, закурил и кухонным ножом взрезал первый конверт. Письмо со стихами. Просмотрел, ответ настучал и скрепил.

Рубль заработан.

Оплата поштучно; и после месяца впечатление, что живешь посреди графоманов. Из страны шел маразм. Психопатология. *«Снег сугробами блестит/Как пизды кусочек./Я бы в рот тебя ебал/С журналом «Огонечек».* Подлинная цитата из поэмы, которую автор просил переслать в Шведскую Королевскую академию на предмет представления к Нобелевской премии.

Для женщин журнал. 20 000 000 тираж.

Отвечать приходилось на все, что ему выдавали в отделе литературы-искусства. Велся учет. Письма входящие, письма исходящие...

* * *

«... В ту ночь ее снова привели пьяной. Втащили на кровать, где они спали с отцом (и с которой я свинчивал шарики, отражаясь знакомым, но уродливым рыльцем). Шубы не сняли, только валенки бухнулись об пол галошами.

Когда ударило в переборку — дощатую, оклеенную газетами плюс обои — я отодвинулся к самому краю. Но пружины работали. Этот ритм, тупо-бухающий, подчинил и меня. Он укачивал, он баюкал, и с протестом, с отвращением

я переживал соответствующие толчки.

Сладострастие. Слово из классики. Я его ненавидел. Оно требовало моей правой руки. Чтобы делать то, за что насмерть забили сапогами мальчика в повести Горького. Я не мог, понимаете?

Зэки наши этим занимались на крыше барака. Стоя. Все смотрели при этом над колючей проволокой. В одну точку. Под юбку, которую по эту сторону проволоки задирали на себе одна девочка с нашего класса. Второгодница с аденоидами. Рот приоткрыт был, как будто в удивлении постоянно. *Сакля* кличка была.

Странно, да? *Sachli* — грузинское слово. Хижина, значит, обитель кавказских горцев. Ничего общего с зауральской лагерной зоной. Только недавно я вспомнил, что первой ее так: «Идиотка! Сама ты Сакля!» обругал учитель, когда она не смогла объяснить этого слова (мы проходили «Кавказский пленник» А.Толстого).

«Зажать Саклю». Игра на переменах. Кто-то стояла на аташе, у дверей, в ручку которой задней ножкой засунут был стул. Ее зажимали в дальнем левом углу. Оравой. Иногда других девочек выгоняли перед этим в коридор, иногда нет. Сакля была выше всех на голову. Большая и мягкая, заполняла собой весь угол. Она никогда не плакала, только вжимала голову в плечи, закрываясь локтями: боялась удара в лицо. Постоянно была в синяках. Бил отец. Якобы за двойки, хотя говорили, что Сакля от беглого зэка (мать умерла). Однажды загнал во дворе в уборную. Она заложилась на задвижку — на толстую, деревянную. Матерясь на весь поселок, он стал рубить топором. «Зарублю!», — кричал он. На помощь никто и не думал прийти. Если б не был он пьян, зарубил. Я был отличник, первая парта (уже тогда налегал на английский). Когда зажимали Саклю, меня.

начинало тошнить. Раз я не выдержал, бросил книжку (*Treasure Island*), вскочил на сиденье, побежал по партам в угол и сверху врезался в воющую толпу. Вместе со всеми я стал хватать, щипать, царапать обмякшую Саклю, вместе со всеми моя рука хватала безответные груди второгодницы, пробивалась меж ляжек в обвисающих дырявых хлопчатобумажных коричневых чулках — и при этом с огромным облегчением я испытывал к ней одно отвращение, злобу, потребность сделать еще ей больней, чтобы она закричала, наконец, чтоб залилась слезами с соплями, но Сакля где-то выше атакующих наших рук, плечей и голов только всхлиписто выдыхала. Она сидела на «Камчатке», на последней парте, одна, никто не хотел, от нее несло мочой, а тогда в этой куче-мале именно все и рвались к источнику вони, стаскивали с нее голубые рейтузы, а потом эту тряпку, вывернутую наизнанку, топтали на полу, отбивая ей ноги. А потом она ее обратно натягивала. Издавая носом свои: «Хр-р, хр-р...»

После этого я вернулся на первую парту. Правая рука как чужая была. Я бы ее отрубил. Я ее ненавидел. Всех ненавидел. Вместе с Саклей.

Зэки ее не обижали.

Колючая проволока. Не могли.

Здрав юбку, она стояла расставив ноги, чтобы рейтузы не упали в грязь.

Был октябрьский вечер, силуэты зэков на фоне закатного неба, как мишени. Мысленно я их расстреливал, она-нирующих: один за другим они падали с крыши барака. Они драчили молча, глядя на нее, но иногда кричали что-то, их трясло, вся шеренга в этом дерганьи. В конце представления они ей бросали конфеты. В зоне дорогих не продавали. Переваливаясь на корточках, она подбирала «барбариски», «театральные», «батончики соевые». В 14 лет она все еще

играла в фантики. Когда я последний раз был дома, Саля работала на железной дороге.

В общем, пассивно лежал я и слушал, как за стенкой насилюют мою маму. Она ударялась головой. А то, что било ее головой, рычало с насадкой, как рубят дрова. Потом ухнуло, слезло. Хлопнуло дверь. Начлат? Военком? Завскладом? Ассириец из конвойной охраны? Инспектор из Москвы? Зэк-стукач, бывший студент? Мало ли...

Я слез и закрыл. Крюк наложил. Ноги сами пришли. Кровать занимала три четверти спальни. Поперек кровати оставили, на мятном покрывале. Абажур раскачивался — оранжевый с бахромой. Я остановил его. Тикал будильник, заведенный на 7. В ней всегда было что-то птичье, но сейчас эту птицу из рогатки подбили. Глаза закатились под веки. Перегар. Пился спирт из больнички. Медицинский. Стертые губы, завивка. Она красилась под блондинку. Медвежья шуба выворачивала ей руки. Я спустился на пол, стал смотреть в замороженное окно. Подобрал ее валенки, вынес к двери. Ноги мамы свисали. Скатал с них шерстяные носки и повесил на перекладину под сиденьем стула. На ней были чулки, ляжки передавлены круглыми подвязками. Я стащил их, они скукожились, из них заторчали резинки, от которых стреляют пробоями. Гнут и режут из гладкой проволоки. От пробоя в упор Иванчук весь залился кровью и остался без глаза. Снял чулки, они вывернулись, я их обратно в порядок. Руки тряслись, маму я еще не раздевал. Вынимая руки из шубы, я приговаривал: «Надо же лечь по-человечески...» Приборматывал: «Мама, милая мама...» Голова ее вывернулась набок. «Что же мне с тобой сделать?» Молчит. Я потянулся, приоткрыл. Вот откуда я, значит. В мир пришел. Вот из этого — взъерошенного, ссохшегося, как от клея. Я испугался, что может, убили. Пульса не было, но потом я на-

шел. Нет, живая. На тумбочке зеркало косо, гребень. Стал причесывать — там. Сам не знаю, зачем. К порядку отец приучал. Выкатилась вдруг наглая капля и поползла, чтобы измарать подкладку шубы.

Вот тогда.

Как не знаю, но я это сделал. Она даже стукнулась раз. Но она не проснулась.

Point of no return.

Взял ее папиросы, спички. Вышел в сени. Закурил. Как все они — после этого.

Моток веревки висел там.

Пойти удавиться в сортир? Как это делается, я знал. После отца остались учебники — судебная медицина там.

Она требовала, чтобы всех их я звал "папой". Ха...

Подбросил сосок умывальника, папироса зашипела. Я уронил ее в таз и вернулся.

Она подчинялась, когда я ее раздевал. Стаскивая через голову бархатное платье, сорвал с нее медальон. Потом вытаскивал из-под нее покрывало. Из-под подушек достал шелковую ночную рубашку и край одеяла. Обе подушки уложил рядом, предварительно их пообив. Перевернул в них лицом, отстегнул пять крючочков *бюстика* — как она называла кокетливо. Натянул на нее рубашку. Под уютным светом все было — как ничего не случилось. Как в детстве. Даже мне захотелось лечь с ней рядом.

Она спала, когда я ушел в школу.

В жизни я преуспел. Выездной; бываю в командировках на Западе. Впрочем, с женой не сложилось. Мой приятель бросит это письмо. Если получите, это значит, что я на свободе. Но это с собой экспортировать не хочу. Можете переслать в «компетентные органы». Вместо объяснения. Надеюсь, все ясно?»

* * *

Так. Ответа на это не ждали. Минус рубль.
Он вскрыл другое письмо.
Снова поэзия...

Еще раз к вопросу о фантиках

были старые в потертом сиреновом бархате альбомы для фотографий — с целлулоидным сочинским солнцем на плечах крупнотелых купальщиков с выцветшей музыкой над подметенными террасами кисловодска с черно-белым царскосельским небом забегаящим за спину незнакомым родственникам — старым навсегда пропавшим в сломанных зеркальцах забытого на антресолях фэда и новым недавно возникшим в радужных линзах дефицитного зенита о котором тоже нечасто вспоминали и чьи гляцевые еще не выцветшие снимки уже не наклеивались на толстые альбомные страницы а просто засовывались куда-то под заднюю обложку а потом выпадали шелестя и рассыпаясь по полу а следом тяжело шлепалась хранившаяся там же диковина — большая нечеткая фотокарточка выскочившая однажды в круглом цирке на фойтанке из явно бутафорского аппарата фокусника кио мгновенно — в чем и заключался фокус — хотя и было понятно что нас с дедушкой в третьем ряду слева заранее сфотографировали ассистенты и уже готовую фотографию засунули в фальшивую машинку знаменитого иллюзиониста а может прямо в наш домашний альбом откуда она теперь выпадала вместе с такой же большой только потоньше — многоярусным 2-б классом где некто в серой форменной паре с пришитым мамой белым воротничком с ни единого взмаха ножниц не требовавшей стрижкой *канадская полька* вот тот в третьем ряду слева кажется кого-то напоминает

были альбомы для марок — дореволюционный дедуш-

кин довоенный папин и до-тогда-еще-неизвестно-чего-нный мой из которых самым замечательным был конечно дедушкин где на желтых шершавых страницах были (как на карточках для игры в лото) заранее напечатаны изображения марок которые следовало туда наклеивать и где ни одна страница не была заполнена целиком и лишь только в разделе *австро-венгрия* в строчках посвященных императору францу-иосифу довольно часто попадалась комбинация *квартира* (кто играл в лото знает в строчке заполнены все клетки кроме одной) дома из привычного уважения к старине почему-то считалось будто этот альбом представляет собой какую-то необыкновенную ценность хотя на самом деле все эти уже весьма солидными тиражами разошедшиеся кайзеры усатые премьеры и бородатые орлы были ничуть не большей редкостью чем папины папанинцы челюскинцы аэропланы и генералиссимусы или чем мои космонавты олимпийские чемпионы и сокровища эрмитажа (так и не выбрав окончательно между *спортом* и *искусством*) а собирал я их во-первых потому что на день рожденья подарили альбом во-вторых в тайной и ложной надежде что лет через сто они окажутся такими же ценными как дедушкины и вот пожалуйста — ста еще не прошло а *почта ссср* звучит не хуже чем дедушкины *нидерландская индия* или *южно-африканский союз*

только для фантиков альбома не было хотя и можно конечно было устроить самодельный взяв обычную вернее общую по четырнадцать копеек тетрадь и надрезав ее грязноватые клетчатые страницы давно уже затупившимся лезвием *жиллет* которых у дедушки для чего-то хранилась полная жестянка из-под *монпансье* и которые пригождались когда нужно было разрезать что-нибудь бумажное как вот этот альбом для фантиков вовсе и не понадобившийся

потому что фантики нечего было коллекционировать — они и так валялись дома повсюду — в желтом кухонном буфете рядом с рецептами печенья *бизе* и торта *прага* и в ящиках серванта где хранились столовые приборы непонятно называвшиеся мельхиоровыми и в письменном столе среди тетрадей и папок с документами в одной из которых содержался развалившийся по сгибам на четвертинки вид на жительство в запретном городе санкт-петербурге выданный моему прадедушке канцелярией петербургского градоначальника

фантиков было так много потому что бабушка работала на кондитерской фабрике имени крупской сделавшейся позже кондитерским объединением когда к ней (никогда мной не виденной) присоединили другую имени микояна которую я как раз часто проезжал и которая помещалась в красного кирпича здании на проспекте маркса и распространяла на несколько кварталов удушающий запах карамели а там и делали только карамель: цветные прозрачные кристаллы *барбарис* и *дюшес* или же белые начиненные вареньем шарики которые можно было сосать прижимая к изнанке щеки пока она в этом месте не становилась пупырчато-шершавой а потом через подтаявшую дырочку высасывать ягодную начинку; заворачивали же у микояна в какую-то дряблую просвечивающую прилипающую к шершавым конфетным бокам бумагу не шедшую ни в какое сравнение с фантиками крупской которые и приносила бабушка неизвестно зачем иногда целыми пачками совсем новенькими прямо с фабрики которую я никогда не видел а потому и не знаю какого цвета стены у шоколадных фабрик и чем они пахнут хотя и так ясно что не шоколадом

иногда фантики появлялись и вместе с конфетами разумеется шоколадными правда не так часто как можно было

ожидать особенно после того как бабушка ушла на пенсию — конфеты же кроме собственно фантика заворачивались еще в две обертки — пергаментную (не представлявшую особого интереса) и фольговую мгновенно покрывавшуюся мелкими морщинами которые можно было разглаживать ногтем указательного пальца до почти первоначальной гладкости чего с самими фантиками сделать уже никогда не удастся даже если прогладить их горячим утюгом вложив для сохранности между газетных страниц под утюгом начавших пахнуть чем-то кислым и сладким — даже и после глажки на фантиках оставались следы сгибов так что после сложной этой обработки их все равно приходилось выбрасывать потому что все они или почти все уже имелись в неиспорченных доконфетных образцах и были ни для чего не нужны пока не оказалось что в фантики можно играть и их понадобилось много

в те годы когда уже практически каждый мог сварить себе собственную конфету из банки сгущенного молока с сахаром голубыми пирамидами стоявшего по всем *бакалеям гастрономиям* и даже *мясам-рыбам* хорошие конфеты (а плохих тогда кажется еще не делали) равно как их роскошные фантики оказались каким-то странным анахронизмом (не помню где слышал что конфеты *красная шапочка* делались еще до революции причем в той же самой обертке но называлась ли они просто *шапочка*?) так что по-хорошему собирать надо было не одни фантики а и сами конфеты хотя фантики-то вымерли раньше — после того как их сперва подогнали под среднекарамельный стандарт а потом и вовсе отменили насыпая конфеты в коробки под названием *шоколадный набор* где в лучшем случае для их коллективного сна подставлялись пластмассовые ячейки а в худшем — ничего хотя конечно коробки были удобнее для подарков по-

тому что не станешь же дарить врачу или кассирше кулечек развесных когда есть такие удобные коробки но ведь коробки были и раньше только совсем другие например *сказки пушкина* с невероятной машинерией при помощи которой в специальных прорезях крышки появлялись разные картинки или *жар-птица* где каждая конфета на срезе состояла из чередующихся коричневых и белых слоев и была охвачена в поперечнике золотистой бандеролькой в форме колечка с расширением наверху который конечно не был фантиком в строгом смысле слова так что его приходилось выбрасывать хотя и жалко было когда вечером после ухода гостей эти смятые колечки оставались валяться на скатерти среди крошек от пирогов и яблочных очистков

были правда и тогда неплохие вполне приличные конфеты в незаслуженно даже унижительно ничтожных обертках — печальные жертвы карамельных худсоветов и шоколадных отделов гослита чья бдительность сопровождала фантики на всем пути от эскиза до прилавка на что горько жаловалась однажды знакомая художница показывая целый альбом зарезанных цензурой диссидентских фантиков один из которых был запрещен уже после того как первая партия конфет ушла в магазины и вдогонку пришлось рассылать указание продавцам все конфеты развернуть и фантики уничтожить (произошло все наоборот) так что неудивительно что например *белочка* стала с некоторых пор появляться в какой-то жухлой грязно-зеленой обертке без фольговых и пергаментных прокладок словно какой-нибудь соевый батончик хотя может быть благодаря этой мимикрии она и продержалась как сейчас бы сказали на рынке дольше других пережив практически все виды и старых и новых шоколадных конфет между тем как существовал и был у меня совсем другой фантик на толстой глянцевой

бумаге представлявший толстенькую белочку с нарядным чересчур большим для нее орехом в лапах для родственного ей сорта *грильяж* существовавшего еще под русским псевдонимом *лесной орех* было изобретено чуть ли не три разных фантика: зеленый желтый и еще не помню какой а продавался он в последние годы вообще без обертки в коробках покрытый лишь иногда сомнительным беловатым налетом — очевидным признаком залежалости известного свойства самых дефицитных продуктов в лучшие времена я не очень любил *грильяж* маскировавший под шоколадными боками жесткий ореховый костяк любая попытка раскусить или разжевать который кончалась нытьем не только в больших но и в здоровых зубах зато он как бы сочетал достоинства шоколадной конфеты и разного рода леденцов и тянучек то есть позволял подольше растянуть удовольствие за счет того еще что само превращение привычного конфетного брикетика в светло-коричневую блестящую ореховую плиточку заслуживало особого интереса требовавшего обсосав шоколадную обливку вытащить — прощу прощения — оставшуюся часть конфеты изо рта и должным образом изучить

и белочка и *грильяж* были конфеты как бы на *каждый день* они не то что бы никогда не переводились дома но и никогда не исчезали надолго поэтому и держались на виду обычно в в кухонном буфете или гостином серванте специальной хрустальной вазочке-конфетнице в которой и подавались к чаю обычным будничным гостям брать же их разрешалось без спроса в отличие от других вроде *мишки на севере* или *красной шапочки* появлявшихся изредка и хранившихся неизвестно (до тех пор пока не найдешь или не подглядишь) где и выдававшихся поштучно не то чтоб по особым поводам но и не каждый день изображенный под

именем *мишки на севере* полярный медведь на самом деле не очень соответствовал названию поскольку не был в строгом смысле слова мишкой и ни при каких других обстоятельствах в такой фамильярной форме не упоминался к тому же и не мог находиться нигде как на севере в отличии от своего бурого сородича который в виде известной классической картины украшал другой очень похожий сорт называвшийся *мишка косоплывый* что касается *красной шапочки* то это был один из самых удачных фантиков может и вправду по упомянутой уже причине вообще это все был примерно один сорт конфет — шоколадная начинка зажатая между двумя тонкими вафлями и облитая снаружи шоколадом причем верхнюю вафлю можно было сбоку подцепить ногтем и оторвать вместе светло-коричневый слой начинки с отпечатками вафельной решетки на нем после чего съесть всю конфету а уж потом верхнюю вафлю с покрывавшем ее шоколадом этот же тип конфет имел еще несколько изводов с разными названиями и очень хорошими фантиками вроде *зоологических антракта тузика* или *ананасных* которые я кажется так никогда и не пробовал хотя и располагал довольно толстой пачкой их ярких с маленькими ананасами по желтому полю фантиков был еще один сорт ленинградских конфет — *адмиралтейские* — которых мне не давали поскольку они были не то с коньяком не то с ликером их мрачноватые глянцевые с видом с невы на адмиралтейство фантики я вероятно за это и недолюбывал

надо сказать что не только ленинградские конфеты были вкуснее чем скажем московские но и фантики их были намного художественней пожалуй только один сорт ленинградских конфет ничем не радовал собирателя что в значительной мере искупалось его замечательной вкусно-

той — я имею в виду *трюфели* чуть горьковатые в светло-коричневой летучей пылице их-за которой на боках у них если не засовывать в рот всю конфету целиком оставались отпечатки пальцев а если раскусить ее сверху вниз то на темно-коричневой внутренности оставались длинные вдавленные полоски от зубов вообще все конфеты не прямоугольной а пирамидальной конической формы не представляют никакого фантичного интереса (хотя почти всегда вкусны начиная от классических трюфелей кончая разными модернистскими сортами производившимися в москве вроде тех что назвались *вечерний звон* или *чернослив в шоколаде* где внутри чернослива имелся еще и не объявленный в названии орех) ибо фантики их кроились по другому покрою а именно не прямоугольному а квадратному не имели гладких поверхностей для рисунка и будучи собираемы на маковке в закрученный и топорщившийся пучок требовали мягкой бумаги или целлофана сразу же терявших всю красоту после того как из них вылущивали конфету

в отличие от таких бесполезных объектов коллекционирования как марки значки или открытки фантики доставляли выходящие за рамки чисто коллекционерского азарта во-первых естественно в связи с самой сферой их существования приложения и обращения — то есть с конфетами а во-вторых в связи с тем что ими или *в них* можно было играть я уже не помню когда именно возникло это увлечение игрой в фантики сколько времени оно продолжалось и почему исчезло или не исчезло или все-таки исчезло просто потому что исчезли конфеты но помню что года два-три наверно с третьего по пятый класс это была игра номер один совершенно оттеснившая такие классические занятия как трясучку пристенок и еще одну не помню как называлась где в мои времена в качестве фишек фигурировали

жестяные пробки от пивных и лимонадных бутылок кроме того по всей видимости в глазах взрослых она была достаточно невинной поскольку ее азартный характер компенсировался невинностью самого объекта поэтому кажется учителя не запрещали играть в нее в школе на перемене а иногда не замечали когда в нее играли и во время урока — фантики не звенят

существовали две разновидности игры в фантики первая — попроще и поглубже игралась на столе или подоконнике вторая требовала больше места своего рода площадки и могла бы играть на большом столе вроде теннисного или бильярдного но только гладкого а за отсутствием такового на полу линолеумном или паркетном в школьных *рекреациях* пол и был паркетный правда не очень гладкий но достаточно скользкий поскольку нами же и натирался с помощью страшно вонючей мастики и специальных ножных щеток кажется во время уроков труда гладкость требовалась потому что игра строилась на поверхностном скольжении фантиков подоконники в школе тоже были хотя и узкие но при необходимой сноровке можно было пользоваться оконной рамой и стеклом для ударов рикошетом на подоконнике игралось следующим образом свернутый квадратным конвертиком (сначала длинные края сгибаются внутрь к середине потом так же — короткие только немного внахлест чтобы сверху осталась одна превратившаяся в квадратную картинка после чего один из загнутых краев засовывается в другой как бы замыкая получившийся конвертик) итак свернутый фантик который собственно только в этом виде называется фантиком укладывался на раскрытую ладонь поближе к запястью после этого раскрытой же ладонью нужно было ударить снизу по краю стола или подоконника и катапультировать фантик на поле тем же

способом забрасывал свой фантик и противник стараясь чтобы он хотя краешком накрыл уже лежащий на поле чужой фантик если это удавалось накрытый фантик доставался победителю если противник промахивался второй игрок забирал свой фантик с поля и повторял попытку обычно партии получались короткими и за большую перемену (двадцать минут) можно было разбогатеть или обеднеть фантиков на десять-двадцать

другая разновидность проходила на полу по элегантной простоте отчасти представляя собой нечто среднее между английскими парковыми играми и бильярдом как и на подоконнике в партии участвовали только двое каждый соперник вбрасывал свой фантик на поле и по очереди перемещая его щелчком большого и указательного пальцев старался так близко подпрыгнуть к фантику противника чтобы установив большой палец на свой и выгнув ладонь мостиком указательным дотянуться до чужого тот кому это удавалось выигрывал и в качестве выигрыша получал фантик противника использовались различные тактические варианты от лобовой атаки до хитрых обходных маневров причем здесь то как раз и сказывалось качество фантичной бумаги ибо только достаточно увесистый и плотный фантик мог описать рассчитанную траекторию проскользнуть почти по прямой несколько метров и плавно затормозить на расстоянии ладони от цели единственное что несколько нарушало свойственную игре элегантность так это страшная мастика в которой неизбежно вымазывались колени тогда еще серой школьной формы без ложной скромности могу заметить ни тогда ни потом ни в игре ни в спорте ни в любви ни в литературе не добивался столь заметных успехов как в обеих разновидностях этой игры

я не помню когда и куда подевалось мое собрание фа-

тиков — две школьных тетради с самой коллекцией и старый полиэтиленовый мешок с игровыми — не помню чтобы дарил его кому-нибудь или выбрасывал или чтобы взрослые увозили его на дачу куда свозилось из города всякое ненужное старье каким-то странным образом оно исчезло одновременно с исчезновением самих фантиков и их сладкого содержимого я всегда был плохим коллекционером и вспоминая иногда об исчезновении того и другого и тем самым пусть и невольно но как при всяком воспоминании упрекая время словно бы не сумевшее их сохранить я был неправ вдвойне во-первых потому не сохранил свои и сам а во-вторых потому что оно-то свои сохранило время оказалось лучшим коллекционером ибо в кондитерском магазине *мечта* на невском проспекте снова продаются *красные шапочки* и *мишки на севере ананасные* и *театральные* те же самые конфеты (не знаю как на вкус) в тех же самых фантиках отпечатанных со старых клише или просто пролежавших где-то на складах все эти мрачные годы шоколадной абстиненции в очередной раз время пожалело расставаться с этими странными пустяками волна поглотившая корабль выбросила на берег на смытый с него скарб легкий непотопляемый сор остается лишь сожалеть что пойдут ко дну вещи более тяжелые вроде с шоколадными цветами тортов огромных in-folio плиток горького шоколада *рот-фронт* и

июнь 1994

19 (XX) 94

КНИГИ АССОЦИАЦИИ “КАМЕРА ХРАНЕНИЯ”

- Камера хранения. Четыре книги стихов.** М., 1989, 208 стр.
Поэтические книги:
Олег Юрьев. Стихи о небесном наборе.
Ольга Мартынова. Поступь январских садов.
Дмитрий Закс. Прекрасных деревьев союз.
Валерий Шубинский. Балтийский сон.
- Камера хранения. Выпуск второй.** Спб., 1991, 256 стр.
Литературный альманах.
- Камера хранения. Выпуск третий.** Спб., 1993, 222 стр.
Литературный альманах.
- Олег Юрьев. Прогулки при полной луне.**
Спб., 1993, 144 стр. ПРОЗА.
- Олег Григорьев. Дустишия, четверостишия и многостишия.**
Спб., 1993, 124 стр. “XXX ЛЕТ”.
- Ольга Мартынова. Сумасшедший кузнечик.**
Спб., 1993, 86 стр. СТИХИ.
- Сергей Вольф. Маленькие боги.**
Спб., 1993, 85 стр. СТИХИ.
- Дмитрий Закс. Aria d'acquaio и другие стихотворения.**
Спб., 1994, 102 стр. СТИХИ.
- Леонид Аронзон. Избранное.**
Спб., 1994, 102 стр. “XXX ЛЕТ”.
- Камера хранения. Выпуск четвертый.** Спб., 1994, 200 стр.
Литературный альманах.

Готовятся к печати:

Очерки затонувшего мира. Сборник 1-ый.

Книга о невосстановимом — о древних обычаях, об окаменелых вещах, о вымершей еде. Среди важнейших тем: конфетные обертки, подстрочный перевод, правила приготовления салата-оливье и пр. Ок. 200 стр.

Aufbewahrung. Eine Antologie der modernen russischen Literatur.

Ausgewählte Texte von den Autoren des literarischen Almanachs “Kamera Khraneniija” (Sankt-Petersburg, 1988-1984, Folgen 1-4). На нем. языке. Ca. 200 Seiten.

КУБОН И ЗАГНЕР

МАГАЗИН РУССКОЙ КНИГИ (МЮНХЕН)

**ХУДОЖЕСТВЕННАЯ И НАУЧНАЯ
ЛИТЕРАТУРА
ИЗ СТРАН ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ
КНИГИ**

по литературоведению и языкознанию
по истории Восточной Европы
по общегуманитарным дисциплинам
художественная литература

*справки о новых изданиях
широкий выбор книг на складе
антиквариат*

ЖУРНАЛЫ И ГАЗЕТЫ

*подписка издания прошлых лет
газетный и журнальный антиквариат*

**ИЗДАТЕЛЬСТВО «ОТТО ЗАГНЕР»
VERLAG OTTO SAGNER**

*научные труды
по славистике
по истории культуры
Восточной и Юго-Восточной Европы*

**Kubon & Sagner
BUCH EXPORT - IMPORT GmbH**

**Heßstrasse 39/41
80328 MÜNCHEN, BRD
telefon: (089) 54 218-0
fax: (089) 54 218-218**

2428239

D
M 23.-